



## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [Б. Д. Порозовская](#)
    - 
    - [Введение](#)
    - [Глава I. Детство и годы учения](#)
    - [Глава II. Лютер – верный сын церкви](#)
    - [Глава III. Разрыв с Римом](#)
    - [Глава IV. Лютер – реформатор Германии](#)
    - [Глава V. Лютер и социальная революция](#)
    - [Глава VI. Церковная реформа](#)
    - [Глава VII. Интимная жизнь Лютера](#)
    - [Глава VIII. Последние годы Лютера](#)
    - [Источники](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
-

**Б. Д. Порозовская**

**Мартин Лютер**

**Его жизнь и реформаторская деятельность**

**Биографический очерк**

*С портретом Лютера, гравированным в*

*Лейпциге Геданом, и другими*

*иллюстрациями*



## Введение

В конце XV века католическая церковь, казалось, достигла кульминационного пункта своего могущества. В лице папы и многочисленной духовной иерархии она держала под своим несокрушимым гнетом, под своим не допускавшим никаких сомнений авторитетом всю средневековую жизнь. А между тем уже в начале следующего столетия в Германии, стране, в которой римская курия распорядилась особенно самовластно, вспыхивает религиозная революция, мало-помалу охватившая всю Западную Европу и оторвавшая от римской церкви всю Северную Германию, часть Швейцарии, Нидерланды, скандинавские государства, Англию, Шотландию и часть Франции. Чем же объяснить столь резкий переворот?

На самом деле при всей грандиозности этого переворота в нем не было ничего неожиданного или случайного. Реформация XVI века, как и все великие исторические перевороты, подготовлялась долго, целыми веками. Уже давно церковь, несмотря на свое возрастающее могущество, шла по пути, который неизбежно должен был привести к катастрофе. Уже давно внутреннее состояние ее – невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность – вызывало громкие жалобы во всех странах католического мира. Основная причина этого упадка, бесспорно, заключалась в светской политике папства, в его отступлении от духовного начала. Поставив целью всей своей деятельности одни земные интересы, одну заботу об увеличении церковной территории, папы, естественно, должны были вмешаться в политику, оставив в стороне свое духовное назначение и заботясь главным образом о деньгах, без которых в политическом отношении ничего нельзя было достигнуть. С этой целью они стали эксплуатировать христианское учение, искажая догматы и делая почти из каждого из них доходную для себя статью. Таким путем мало-помалу выработалась сложная и коварная финансовая система, опутавшая всю Западную Европу, но с особенной беззастенчивостью эксплуатировавшая слабую в политическом отношении Германию.



*Городская жизнь в Германии в первой половине XVI в. Фрагмент гравюры Ганса Зебальда Бэгама*

Результаты этой системы более или менее известны. Продажа должностей повлекла за собой порчу высшей иерархии. Обязанные своим назначением не личным достоинствам, а большей или меньшей сумме, внесенной в папскую канцелярию, высшие духовные лица мало заботились о духовных нуждах паствы и преследовали свои личные мирские цели. С высшего духовенства деморализация вскоре перешла на низшее, и в особенности на монашество. Образование, которым в средние века отличалось духовенство, почти совершенно исчезло из этого сословия.

Большая часть духовных лиц не имела никакого образовательного ценза, а если что и изучала, то лишь бесплодную схоластическую философию. Об Евангелии и Библии большинство имело более чем смутное понятие. Легко понять, какое влияние могло оказывать подобное духовенство на народ. Невежество, суеверие, формальное отношение к религии даже намеренно поддерживались духовенством, так как давали ему возможность эксплуатировать массу.

Подобный порядок вещей, естественно, должен был вызывать протест со стороны людей благомыслящих. И действительно, уже с XII века мы замечаем во всех странах более или менее сильную оппозицию против церкви. Эта оппозиция выразилась в образовании сект: таковы были секты катаров или альбигойцев в конце XII века, вальденцев и др. Все они имеют один общий идеал: стремятся преобразовать церковь в принципе, воскресить первые времена христианства, положить в основу церковного устройства Библию и устранить все учреждения и догматы, находящиеся с нею в противоречии. Но и в самой церкви уже давно возникали движения к ее возрождению. Уже Арнольд Брешианский около 1140 года проповедовал, что духовенство для своего спасения должно отказаться от всяких земных имуществ. Против политической власти пап ратовал и знаменитый Бернارد Клервосский в первой половине XII века. Еще сильнее оппозиция против светского характера церкви выразилась в мистицизме. Немецкие мистики XIV века, например, Мейстер Эккард, Таулер, Сузо и другие, хотя и не выступали прямо против церкви, не отрицали ее авторитета, однако сильнейшим образом восставали против крайнего формализма в религии, громили разврат духовенства и стремились к нравственному возрождению человечества путем проповеди и чтения Библии на родном языке. Но одновременно с этим направлением, в разных концах Европы обнаруживались идеи, клонившиеся к полной революции в церкви. Таково было прежде всего учение знаменитого оксфордского профессора Виклифа, отрицавшего всю церковную иерархию и монашество и признававшего единственным источником веры Св. Писание. Затем, в первой половине XV века, подобная же попытка преобразования церкви возникла в Чехии, под влиянием проповеди Гуса и его единомышленников. Учения эти были осуждены, как еретические, и подавлены; но в народе идеи этих “реформаторов до Реформации” не переставали жить и отчасти подготовили почву для более успешной деятельности реформаторов XVI столетия. Вся литература XIV и XV веков, как ученая, так и народная, проникнута сознанием порчи церкви и необходимости реформы. В народных немецких сатирах XV и начала XVI

веков, как “Reinecke-Fuchs”, “Eulenspiegel”, “Narrenschiff” Себастьяна Бранта<sup>[1]</sup>, зло и едко осмеиваются нравы католического духовенства. Мало того, сама церковь, в лице своих лучших представителей, отцов Констанцкого и Базельского соборов, открыто высказала мысль о необходимости преобразования во главе и членах. Таким образом, оппозиционное течение, замечаемое рядом с возрастающим могуществом римской церкви, никогда не прекращалось и при известных благоприятных обстоятельствах должно было проявиться с особенной силой. Вот это-то благоприятное для церковной революции положение вещей и наступило в Германии в начале XVI века.



*Карикатура на “Interim” и интеримистов. На нотных страницах помещены начальные слова псалма “Блажен муж...”, переделанные в сатирическую строфу, осмеивающую “Interim”*

Дело в том, что великое реформационное движение, которым открывается новая эра в истории Западной Европы, не было явлением исключительно религиозным или церковным. В этом движении выразилась

реакция против всего средневекового порядка вещей и средневекового мирозерцания. Как мы уже заметили, средневековый католицизм в своем историческом развитии перестал быть только вероисповеданием; он сделался целой системой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организацию католических народов. Своим универсализмом и теократизмом он давил национальность и государство; его клерикализм создавал духовенству привилегированное положение в обществе, его догматизм замыкал мысль в самые тесные рамки. Понятно, что против него в конце концов должны были начать борьбу и национальное самосознание, и государственная власть, и светское общество, и усиливавшееся в последнее время образование. К началу XVI века идеи реформации назрели почти везде. Возрождение классического мира, замечательные открытия в области географии и астрономии будили мысль, усыпленную и подавленную церковным авторитетом, указывали ей новые пути. Книгопечатание давало возможность широкого распространения новых знаний, новых идей. Но практические выводы из этих идей были немыслимы из-за гнета церкви, не допускавшей никаких изменений в том, что было установлено ей из своекорыстных целей. Естественно, что мысль, перестав питаться мертвечиной и окрепнув от свежей и здоровой пищи, скоро расправила свои крылья и попыталась сбросить с себя давившие ее оковы. Борьба Рейхлина и других гуманистов с “темными людьми”, едкие сатиры Эразма Роттердамского, направленные против обскурантов и схоластиков, являются как бы прелюдией церковной революции. Особенно важны в этом отношении труды знаменитого Эразма. Его издание греческого текста Нового завета, его комментарии к латинскому тексту и отцам церкви и многие другие труды, положившие начало науке библейской критики и экзегетики, послужили подготовительными ступенями для реформации в научном отношении. Недаром у современников сложилась поговорка: “Эразм снес яйцо, а Лютер его высидел”.

Таковы в общих чертах были причины, сделавшие новые попытки к освобождению от церковного порабощения более энергичными и более плодотворными, чем все предшествующие. А что церковная революция должна была начаться именно в Германии – это понятно само собой. Нигде религиозное чувство не было так сильно развито, как у немцев, и в то же время нигде это чувство не эксплуатировалось с такой беззастенчивостью римской курией, которая при этом даже не стеснялась выказывать свое презрение к обиравшей ею нации. Но особенный успех возникшего в Германии движения обуславливался и другими обстоятельствами, не

имевшими прямого отношения ни к порче церкви, ни к гнету курии. Дело в том, что в Германии в то время происходило сильное брожение во всех слоях общества. Все были недовольны: и рыцари, сильно обедневшие и потерявшие свое прежнее значение, и крестьяне, которых обедневшее дворянство притесняло все больше и больше, и низший слой городского населения, среди которого происходило социальное движение против возрастающего капитализма. Но интересы этих недовольных групп не были солидарны; между ними, например, существовал редкий антагонизм. Поэтому необходимо было найти такой пункт, на котором сошлись бы интересы всех сословий, а таким пунктом было общее недовольство против курии. Понятно, что за церковную реформу должны были ухватиться все: и князья, увидевшие в ней средство противодействовать могуществу императора и его объединительным планам, и рыцари, мечтавшие поправить свои делишки присвоением богатых церковных имуществ, и горожане, во внутреннее управление которых постоянно вмешивалась церковь. А о простых людях и сельском населении и говорить нечего, если вспомнить, что на них-то, главным образом, и тяготели все эти аннаты, палии, индульгенции, десятины и другие денежные поборы, под разными названиями шедшие в сундуки местного духовенства и отчасти самих пап.

Итак, почва для того громадного переворота, который известен под названием реформации, была уже давно подготовлена. Недоставало только человека, который явился бы истолкователем того, что смутно сознавалось всей Германией, и бросил бы искру в этот веками накопившийся горючий материал. Этим истолкователем явился Мартин Лютер, а искрой, от которой вспыхнула религиозная революция, был знаменитый спор об индульгенциях.

## Глава I. Детство и годы учения

Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1483 года в Эйслебене, главном городе тогдашнего графства Мансфельд в нынешней Саксонии. Родители его, Ганс и Маргарита Лютеры, были бедные крестьяне из деревни Мера того же графства, недавно только переселившиеся в Эйслебен, чтобы искать заработка на местных рудниках. О крестьянском происхождении Лютера свидетельствует он сам в своих автобиографических заметках. “Я сын крестьянина, мой отец, дед и прадед были истые крестьяне”, – говорит он даже с некоторой гордостью. И действительно, хотя отец Лютера по своим занятиям стоял ближе к сфере промышленной и сам он провел свою юность в бюргерской обстановке, тем не менее крестьянское происхождение оставило на нем отпечаток на всю жизнь. Из крестьянского дома он вынес свое необыкновенное, для нынешних нервов прямо немыслимое, трудолюбие; отсюда же его трезвый взгляд на вещи, его врожденный практический смысл при всем его несомненном идеализме; наконец, крестьянским же происхождением в значительной степени объясняется консерватизм этого человека, произведшего одну из величайших революций, – консерватизм, благодаря которому он так медленно порывал со стариной, а порвав, старался сохранить из нее все, что только прямо не противоречило его учению. Будущему реформатору было шесть месяцев, когда родители его из Эйслебена переселились в городок Мансфельд, славившийся своими рудниками. Здесь Лютер провел первые 14 лет своей жизни, – период, о котором он сохранил весьма тяжелые воспоминания. Первое время родители его сильно бедствовали. Только упорный труд и крайняя умеренность спасали их от нищеты. Отец работал в каменоломнях, мать на спине носила дрова. Впоследствии, однако, Ганс Лютер, благодаря своей энергии, достиг значительного благосостояния и даже был избран в члены городского магистрата.

Детство реформатора протекло, таким образом, среди материальных лишений, в суровой трудовой обстановке. Но еще более чем эти лишения повлияло на его характер то суровое воспитание, которое дали ему родители. Ганс Лютер представлял из себя тип настоящего немецкого крестьянина – прямого, откровенного, энергичного и страшно упрямого. Более развитый, чем большинство людей его круга, он, несмотря на свою глубокую религиозность, был чужд суевериям окружающей среды;

монахов он прямо ненавидел. Зато мать Лютера, по свидетельству современников, обладавшая всеми качествами доброй и благочестивой матери семейства, была крайне суеверна и притом такого же крутого нрава, как и отец. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование и, когда ему минуло семь лет, отдал его в Мансфельдскую школу. Маленький Мартин рано обнаружил блестящие способности, так что отец из всех сыновей предназначал его одного к ученому званию.

Однако, несмотря на эту заботу родителей, мальчику жилось далеко не весело. Благодаря суровому характеру родителей, не допускавшему проявлений нежных чувств, в связи с тогдашней системой воспитания, в которой главную роль играли частые телесные наказания, мальчик жил в вечном страхе. От природы пылкий и несколько упрямый, он проявлял иногда дурные наклонности, которые родители старались искоренить не иначе, как мерами строгости. Лютер сам рассказывает, что мать из-за какого-то ореха избивала его однажды до крови. В другой раз отец его наказал так сильно, что мальчик бежал из дому и долго не мог потом привыкнуть к отцу и опять полюбить его. “Родители мои, – говорит Лютер, – держали меня сурово, отчего я и сделался робким. Их строгость и суровая жизнь, которую я вел с ними, были причиной того, что я впоследствии ушел в монастырь и сделался монахом. Побуждения их были прекрасны; но они не умели различать особенностей характера (*ingenia*), с которыми всегда должны быть соразмеряемы и наказания”.

Жизнь в школе была продолжением домашней. Учителя маленького Мартина отличались еще более бестолковой строгостью, чем родители. Даже в зрелые годы он не мог без ужаса вспомнить о “школьном чистилище, где ученики ничему не научались благодаря частым сечениям, трепету, страху и воплям”. Достаточно сказать, что сам Лютер, несмотря на свои способности и прилежание, за день был 15 раз “знатно исполосован”. Из этого “чистилища”, где он оставался до 14 лет, он вынес-таки очень мало – кроме чтения и письма, научился лишь десяти заповедям, Символу веры, молитве Господней, грамматике и духовному пению.

В такой-то неприглядной обстановке протекли детские годы Лютера. Бедность и лишения только закалили его мужество, приучили к трудолюбию и умеренности, но безотрадная жизнь в угрюмом родительском доме и наводившей ужас школе сделали его робким и запуганным и заставили рано уйти в свой внутренний мир. Набожность родителей придала этому миру религиозную окраску. Но религия не

доставляла мальчику никакой отрады. В этом отношении на Лютере, как это часто наблюдалось, сильнее сказалось влияние матери, от которой он усвоил и веру в нечисть, и все мрачные представления латинства. Христос казался ему грозным неумолимым судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. “Я постоянно был занят мыслью, – рассказывает Лютер о своем детстве, – сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умиловать Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь”.

В 1497 году родители отправили четырнадцатилетнего Мартина в Магдебург для поступления в тамошнюю францисканскую школу. Здесь ему жилось еще хуже. Родители были не в состоянии содержать его, и мальчик, предоставленный самому себе, должен был поддерживать свое существование нищенством, обходя со своими товарищами деревенские дворы и распевая псалмы. Подобная жизнь, да еще воспитание под надзором монашества, не могли, конечно, развить в нем более светлое мирозерцание. Магдебург, находившийся под ведением Майнцского архиепископа, представлял картину самого строгого церковного управления и крайнего развития теократических начал средневековой Германии. Нищенствующие монахи, пользуясь выгодами своего положения, отдававшего в их руки воспитание юношей, словом и примером распространяли уважение к иноческому житию и привлекали в свой орден самых избранных учеников. Особенно сильно потрясло душу Лютера одно впечатление, которое не изгладилось из нее и в счастливые дни его жизни.

“Я видел своими глазами, – рассказывает он, – ангальтского принца, бледного, как смерть, изможденного свое тело суровым постом и бдением. Он ходил в монашеском капюшоне, сгибаясь до земли под тяжестью нищенской сумы, и просил хлеба Христа ради, между тем, как впереди шел крепкий здоровый монах, которому в десять раз легче было бы снести его бремя; но благочестивый князь не давал ему сделать это. Кто смотрел на него, невольно приходил в умиление и начинал стыдиться своего светского состояния”.

В Магдебурге Лютер оставался не более года. Отец, узнав о претерпеваемых им лишениях, приказал ему отправиться в Эйзенах: здесь у него было много родственников, и старик рассчитывал, что они окажут поддержку его сыну. Но его надежды не оправдались. Родственники не захотели или не могли помочь молодому Лютеру, и он по-прежнему должен был жить подаянием. Не раз приходилось ему выслушивать отказ, сопровождаемый обидными замечаниями, и возвращаться домой голодным,

с пустыми руками. Ему уже приходила в голову мысль отказаться от образования и вернуться к родителям, чтобы, по примеру отца, добывать свой хлеб в рудниках. Наконец судьба сжалилась над ним. Однажды после того, как юный Лютер тщетно стучался в несколько дверей, он остановился, погруженный в грустные думы, у дома богатого гражданина Котта. Жена последнего, Урсула, давно уже обратила внимание на молодого школьника и полюбила его за приятный голос и усердную молитву. В это время она случайно вышла из дому. Увидав печального юношу, она сжалилась над ним, накормила его, а через несколько дней окончательно приняла в свой дом. Это обстоятельство имело громадное и благотворное влияние на жизнь Лютера. Наконец-то он почувствовал себя свободным от того материального гнета, под которым жил до сих пор. Спокойная обеспеченная жизнь в доме богатых людей, их приветливость и ласка подействовали на него возрождающим образом. Прежняя запуганность и забитость мало-помалу исчезли, и в юноше проснулось бодрое жизнерадостное чувство. В доме Котта он впервые узнал значение семьи, влияние женщины и родительской любви; дома он никогда не знал их мягкого согревающего света. Здесь же в нем проснулось и чувство изящного. Во время одной болезни он самостоятельно выучился играть на флейте и лютне, и с тех пор музыка навсегда осталась его любимым искусством.

Благотворное влияние новой обстановки сказалось и на его школьных занятиях. Эйзенахская школа была одна из лучших в то время. Ректор ее, Иоганн Требоний, видимо, находился под влиянием гуманистов. Он имел обыкновение, входя в класс, снимать свой докторский берет перед учениками, так как, говорил он, в числе их могли оказаться будущие бургомистры, канцлеры и ученые. После бесчеловечного обращения школьных “палачей” в Мансфельде подобное отношение, конечно, должно было производить сильное впечатление на Лютера. Оно будило в нем чувство собственного достоинства, доверия к своим силам, благородное честолюбие. И действительно, Лютер с жаром предался занятиям и в короткое время не только пополнил многие пробелы прежнего образования, но и опередил всех своих товарищей.

После трехлетнего пребывания в Эйзенахе, 17 июля 1501 года Лютер, которому минуло 18 лет, переселился в Эрфурт и поступил в тамошний университет.

С университетской жизнью для Лютера начинается новая эра успехов, сулящих ему блестящую будущность. Он был записан на философский факультет под именем Martinus Ludher ex Mansfeld. Здесь преподавание

носило еще старый схоластический характер, хотя рядом с такими представителями схоластической философии, как ректор университета Иодокий Трутфедер, в Эрфурте подвизался уже кружок молодых гуманистов. Лютер с жаром занялся изучением схоластической философии. Он усердно читал сочинения Оккама, Скота, Фомы Аквинского, не пропускал ни одной лекции, обращался за советами и указаниями к профессорам, работал в библиотеке. Правильные диспуты, устраиваемые при университете, развивали его природный ораторский талант и вырабатывали из него будущего замечательного диалектика. Но в то же время он не пренебрегал и классиками, читал Цицерона, Вергилия, Ливия, хотя читал их не просто для изучения языка и выработки стиля, как это делали гуманисты, а обращая главное внимание на внутренний смысл и извлекая из них полезные практические наставления. Одаренный прекрасной памятью и живым восприимчивым умом, он усваивал все чрезвычайно легко и скоро стал обращать на себя всеобщее внимание. Уже в 1503 году Лютер получил степень бакалавра и с нею право читать философские лекции. Материальное положение его к тому времени было лучше, чем когда-либо. Дела его отца настолько поправились, что он нашел возможным назначить сыну определенное содержание. Ганс Лютер возлагал большие надежды на своего первенца. Гордый его талантами, он готовил сына в юристы и мечтал о том, что со временем его Мартин займет место советника при каком-нибудь князе. По его желанию молодой Лютер стал теперь заниматься юриспруденцией, хотя его самого гораздо более влекло к теологии, науке, как он выражается, “исследующей ядро ореха, мозг пшеничного зерна и костей”. Поэтому наряду с юридическими науками, которыми занимался по обязанности, он с гораздо большей охотой и успехом стал изучать отцов церкви, Августина и сочинения мистиков, хотя и расходившихся с господствующими церковными взглядами, но не как скептики, а как люди, для которых вся суть религии заключалась в вере. Но особенно сильное впечатление произвело на него чтение Библии, на которую он случайно наткнулся в университетской библиотеке. До сих пор он не имел о ней понятия; он знал лишь те отрывки Евангелия и апостольских посланий, которые читаются в церкви по воскресеньям, и думал, что это все. Легко представить себе, с какой жадностью он набросился на свою находку. Лютер только и мечтал о том, как бы приобрести самому подобную книгу. Вообще, религиозное настроение, воспитанное в нем в детстве, с годами только усиливалось. Он молился часто и долго; но это, впрочем, не мешало ему теперь быть веселым студентом, которого все товарищи любили за живой общительный нрав.

Успехи в университете немного кружили ему голову, рождали честолюбивые мечты. Он сам рассказывал впоследствии, что в Эрфурте у него был друг, который во время одной его болезни, на выраженные им опасения о своем здоровье, сказал: “Не беспокойся, любезный бакалавр! Ты еще будешь некогда великим мужем!” Очевидно, слова эти запали Лютеру в душу; он верил им, как предопределению Божию. В предчувствии чего-то великого, ожидающего его в будущем, он работал неутомимо. В 1505 году он получил степень магистра. Возведение в эту степень сопровождалось в то время торжественными церемониями, факельными процессиями и тому подобным. Это льстило тщеславию молодого ученого. Даже в зрелые годы, когда реформатор был пресыщен славой, он с удовольствием вспоминал о своих тогдашних ощущениях. Видимо, Лютер вполне проникся честолюбивыми планами старика Ганса. А между тем, к величайшему изумлению друзей, к невыразимому огорчению и негодованию отца, он в том же 1505 году покидает свет и поступает в монастырь. Как же это случилось?

После того, что мы сказали о студенческой жизни будущего реформатора, о его страстном увлечении наукой, этот шаг должен показаться совершенно неожиданным и непонятным. На самом деле, однако, вся совокупность религиозных представлений, действовавших на него с детства, незаметно влекла его в монастырь. Лютер не был из числа тех, которые любят науку ради нее самой; при всех своих занятиях он всегда преследовал субъективные практические цели: искал в науке лишь ответа на те вопросы, которые занимали его с детства – об отношении человека к божеству, о том, как умиловать грозного Судью, как заслужить свое спасение. И теперь, среди занятий наукой, среди упоения успехами, славой, среди веселых развлечений молодости его не покидали те же неотвязные думы. Каждая мысль о смерти, о вечности и Страшном суде потрясала его душу. Таким, каким он был – он чувствовал это, – он не мог предстать пред Господом. Но сухая, бесплодная схоластическая философия не могла разрешить его сомнений. Оставалось одно средство, – то, на которое указывала постоянно церковь как на единственный верный путь к спасению – поступление в монастырь. Два случая окончательно повлияли на решение Лютера. Рассказывают, что один из университетских его товарищей, некий Алексей, умер неожиданно – по одним известиям, был поражен ударом молнии, по другим же – был убит при Лютере рукой изменника. Это событие сильно потрясло душу молодого человека. Он невольно стал задавать себе вопрос, что станет с ним, если он так же внезапно будет призван Богом. Вскоре после того, возвращаясь после

летних каникул от родителей в Эрфурт, Лютер был настигнут в дороге страшной грозой. Оглушительный удар грома раздался вблизи, молния ударила в нескольких шагах от Лютера. В ужасе он воскликнул: “Святая Анна, помоги мне! Я буду монахом!”

Это вырвалось у него нечаянно, но он был не из тех людей, которые вступают в сделки с совестью. Через две недели он исполнил свой обет. В 1522 году, посвящая отцу сочинение о духовных и монашеских обетах, Лютер откровенно сознается, что не по доброй воле принимал пострижение, а в минуту отчаяния, среди ужасов смерти; что он шел в монастырь без ведома родителей в то самое время, когда отец уже выбрал для него в невесты богатую и хорошую девушку; когда сам он чувствовал всю немощь почти двадцатидвухлетнего юноши. Лютер расставался со светом не без сожаления, не с холодным чувством старческого разочарования, а приносил действительно великую жертву своим убеждениям. Он бежал в монастырь от мирской суеты и соблазнов, чтобы тяжкими подвигами умерщвления плоти заслужить спасение души своей у гневного Бога.

## Глава II. Лютер – верный сын церкви

Это великое событие в жизни будущего реформатора совершилось 17 июля 1505 года. Накануне он в последний раз созвал своих друзей на товарищескую пирушку, забавлялся с ними пением и музыкой и только при самом прощании поразил их неожиданной вестью. Напрасно упрашивали они его отказаться от своего намерения. Эта вечерняя пирушка была последней данью Мартина миру, юности, дружбе. В ту же ночь он поспешил в Августинский монастырь, отослав университету свой магистерский перстень. Из книг взял с собой лишь Вергилия и Плавта, все прочие возвратил книгопродавцам. Родителей и отсутствовавших друзей он уведомил письменно о совершившемся факте.

Легко представить себе горе старика Ганса, когда все надежды, возлагавшиеся им на сына, внезапно рухнули. “Он чуть не сошел с ума, – рассказывает сам Лютер. – Написал мне письмо, в котором снова обращался ко мне на ты – с тех пор, как я стал магистром, он писал мне вы, – и навсегда отрекался от меня”. Только спустя два года, из-за смерти двух других сыновей и распространившегося слуха о мнимой смерти Мартина, старик смягчился и простил непокорного сына, хотя никогда не мог совершенно примириться с его монашеством.

Но Лютер в то время не обращал внимания на гнев и горе отца. Он видел перед собой одну лишь великую цель, и по сравнению с нею никакая жертва не казалась ему слишком великой.

Монахи приняли его с радостью. Предпочтение, оказанное их званию и ордену одним из наиболее уважаемых членов университета, конечно, было им очень на руку. Но в то же время они считали нужным смирить его гордость ученого, показать ему, что его знания не имеют никакой ценности за стенами монастыря. Сами отличаясь невежеством, члены конвента даже боялись умственного преобладания тех из монахов, которые обнаруживали любовь к просвещению. И вот, отчасти с целью приучить его к главной монашеской добродетели – смирению, отчасти для того, чтобы не оставлять ему времени на книжные занятия, на нового послушника был наложен особенно тяжелый искуc. Он должен был прислуживать старшим, быть привратником, заводить часы, подметать церковь, исполнять самые грязные работы. А когда он кончал свою работу, ему кричали: “Cum sacco civitatem!”<sup>[2]</sup>. И бывший магистр отправлялся по городу с нищенской сумой и выпрашивал подаяние. Но Лютер безропотно переносил все налагаемые

на него испытания. Ведь он для того и поступил в монастырь, чтобы путем смирения подвигов добиться святости. Впрочем, это тяжелое послушание продолжалось недолго. Университет заступился за своего бывшего члена, и его избавили от унижительных обязанностей.

“Если когда-нибудь монах достигал спасения монашеством, то и я должен был достигнуть его”, – говорил впоследствии Лютер, вспоминая о своих первых годах в монастыре. И действительно, по отзывам всех, в монастыре не было более ревностного монаха. Лютер не только добросовестно исполнял все, что предписывалось строгим уставом, но ставил себе еще более аскетические требования, морил себя голодом, холодом и бдением и довел себя до того, что из цветущего юноши превратился в скелет, обтянутый кожей. Было что-то титаническое в этой борьбе, в этом яростном стремлении полным умерщвлением чувственного человека достигнуть идеала святости: он хотел, по собственному выражению, “приступом взять царство небесное”.

Через год его постригли под именем брата Августина. Теперь он достиг цели. Среди обычных поздравлений ему говорили, что теперь он чист, как дитя, только что вышедшее из купели. И Лютер старался верить этому: ведь он исполнял закон с величайшей строгостью, а сколько тысяч людей обрели душевный покой в этом сознании!



*Доктор Мартинус Лютер, августинец. Старейшее из известных*

## *изображений Лютера*

Но увы! Его душа по-прежнему была полна смятения. До пострижения Лютер был убежден, что в монашеском звании нет искушений, что за стенами монастыря дьявол бессилен. А между тем оказывалось, что искушения осаждают слабого человека и в святой обители, что дьявол и тут ставит человеку ловушки. Эта мысль, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания, исповедовался каждый день; но ничто не помогало – плотские вожделения возвращались снова. И он стал отчаиваться в своем спасении. Но самая ужасная мысль, превращавшая его внутренний мир в настоящий ад, была та, что он, может быть, принадлежит к числу тех осужденных, которым, по учению св. Августина о предопределении, не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила его иногда до того, что он чувствовал ненависть к Богу, ибо “кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?” Конечно, выдавались и отрадные минуты успокоения, но они были непродолжительны и сменялись страшными картинами гнева Божия: “И днем, и ночью меня смущал внутренний голос: кто знает, угодны ли подвиги твои Господу?”

От этих мук Лютер искал спасения в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первая заключалась в его уверенности, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому все утешительные изречения вроде “Господь не хочет смерти грешника” оставались для него непонятными, когда он противопоставлял им ужасные слова: “Я Господь Бог твой – Бог-ревнитель”. Вторая повязка заключалась в его фанатической приверженности к папству и всей церковной традиции. Когда однажды в монастырской библиотеке ему попался том проповедей Гуса и он из любопытства заглянул в него, то его страшно поразило, что еретик мог так по-христиански толковать Св. Писание. Но вспомнив, что Гус осужден, Лютер поспешил захлопнуть книгу. Ему казалось, что если он даже только подумает доброжелательно о еретике, “стены должны почернеть, а солнце померкнуть”. С такой повязкой на глазах Лютер, читая Св. Писание, конечно, видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам латинский текст, а постоянно руководствовался приложенными к нему комментариями, так называемой *glossa ordinaria*. В

то же время Лютер продолжал читать и схоластических богословов. Читал он также сочинения Герсона и Вильгельма Оккама, восстававших против всемогущества папы; но их довольно смелые взгляды на церковь пока не обращали на себя его внимания. Лютера интересовали лишь практические религиозные вопросы, а на них ни один из названных мыслителей не мог ему ответить.

Через два года после поступления в монастырь Лютер получил сан священника; 2 мая 1507 года он впервые служил литургию. По этому-то случаю старик Лютер и примирился с сыном, и даже лично приехал на торжество. С трепетом приступил Лютер к алтарю. Когда в порядке богослужения он дошел до известных слов католической мессы: “Приношу Тебе, Богу вечному и живому, сию жертву”, то затрясся всем телом и отступил бы от алтаря, если бы его не удержали присутствующие. “Ибо, – думал он, – кто может предстать перед величием Господа без посредника? Как могу я беседовать с Богом, когда люди боятся предстать и перед земным царем?”

Такое постоянное внутреннее раздвоение, в связи с уединением монастырской кельи и аскетическим образом жизни, естественно, должно было сильнейшим образом расшатать его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Однажды его нашли в келье в глубоком обмороке, и только звуки музыки привели его в чувство. В обращении с товарищами он стал раздражителен, нетерпелив. Его не любили, хотя не могли не уважать. Самая наружность его внушала одновременно и страх, и уважение. Монах с бледным изможденным лицом, на котором запечатлелось внутреннее страдание, с мрачным взглядом глубоких сверкающих глаз обращал на себя общее внимание. Еще в 1518 году, когда Лютер обрел уже душевное спокойствие, кардинал Каетан говорил про него: “Я едва мог смотреть этому человеку в глаза, таким дьявольским огнем они сверкали”. В монастыре многие думали, что он одержим бесовской силой. Один из его биографов-современников рассказывает, что однажды за обедней, во время чтения Евангелия об изгнании беса из глухонемого, Лютер пал на землю с восклицанием: “Не я! Не я!” Да он и сам верил, что его смущает дьявол, с которым и впоследствии, как известно, беседовал нередко целые ночи, препирался в богословских вопросах, причем иногда выходил победителем, иногда падал под гнетом борьбы.

Что же, однако, спасло Лютера, что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших освященных веками авторитетов?

Конечно, главным образом Лютер был обязан своим спасением собственной здоровой натуре, которая, в конце концов, должна была найти выход из пучины сомнений. Но сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре. Формула апостольского символа “Верую в отпущение грехов” была для него до сих пор страшной загадкой. Но вот однажды он услышал от монаха, что христианин должен понимать эти слова не в общем смысле, веруя вообще в возможность отпущения грехов тому или другому человеку, а в таком, что отпущение дается всем и каждому, и дастся ему самому тогда и настолько, когда и насколько он будет верить в него. Эти простые слова бесхитростного старика произвели на Лютера сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена, Штаупицем.

Этот мягкий высокообразованный человек, который, по словам Лютера, первым возжег во мраке его сердца свет Евангелия, был врагом схоластики и по своим религиозным воззрениям являлся отчасти последователем мистиков, отдававших внутреннему настроению преимущество пред внешними делами и отчасти учеником св. Августина, учившего об оправдании через Божью благодать. К Св. Писанию он питал глубокое уважение и старался ввести его изучение в монастырях, ему подчиненных. Штаупиц ясно сознавал и порчу римской церкви, хотя по мягкости натуры и не думал выступать в роли реформатора. Обезжая монастыри своего ордена, он приехал и в Эрфурт – не известно, в котором году. Как знаток человеческого сердца, он тотчас же обратил внимание на бледного молодого монаха, который своей наружностью и поведением резко выделялся из окружающей среды. Он заставил Лютера разговориться и горячо заинтересовался им. С тех пор между этими столь несходными людьми завязались короткие сношения и лично и письменно, не прекращавшиеся почти до самой смерти Штаупица. Лютер никогда не забывал, чем он обязан этому наставнику, которого называл своим духовным отцом, и до самой его смерти, несмотря на возникшие между ними впоследствии разногласия в мнениях, относился к нему с искренней любовью. И действительно, Штаупиц имел на него самое благотворное влияние. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему Своего Сына в жертву за людей, как на единственный и несомненный источник спасения.

Таким образом, приблизительно с 1508 года мало-помалу начинается поворот в богословских представлениях Лютера. До сих пор он разделял

все крайности воззрений схоластиков, а так как схоластика в большинстве своих представителей пришла к убеждению, что человек может достигнуть единения с Богом в духовном совершенстве без посредствующего действия благодари, при помощи собственных лишь сил, то и Лютер во всей полноте разделял это убеждение. Но собственная неудовлетворенность, с одной стороны, и влияние Штаупица – с другой, сильно пошатнули это убеждение, а чтение Библии под новым углом зрения довершило дело. Теперь, читая Св. Писание, Лютер с особенным вниманием останавливается на таких изречениях, в которых Христос называется Всемирным Ходатаем, а вера – единственным средством примирения с Богом. Особенно его поразило изречение пророка Аввакума: “Праведный от веры жив будет”, которое он истолковал в том смысле, что праведный и есть человек, оправданный пред Богом своей верой.

Конечно, Лютер в данное время был еще очень далек от своих позднейших религиозных представлений, сделавших из него реформатора. Трудно определить, сколько времени продолжался этот внутренний процесс. По всей вероятности, борьба была продолжительна, тем более, что Лютер еще продолжал изучать схоластику, привлекавшую его тем, что в ней все было так стройно, тогда как в учении Штаупица многое было непонятно и недостаточно обосновано. Однако, благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе его мало-помалу водворяется покой. Он работает с новым жаром, проверяет свои прежние выводы, и каждый шаг на новом пути ведет его к большей ясности, умиряет прежнюю тревогу. Он не старается больше взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. Но он еще долго не сознает всех логических последствий нового принципа; не сознает, что с той минуты, как религия становится сугубо личным делом между Богом и верующей душой, рушится все здание католической церкви. На самом деле идея об оправдании верой не мешает ему еще долго оставаться таким же ярким поклонником папы и верным сыном церкви, каким он был в момент поступления в монастырь.

В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица, он был приглашен курфюрстом саксонским, Фридрихом Мудрым, преподавать в недавно основанный им Виттенбергский университет. Здесь Лютер вначале должен был читать лекции об Аристотелевой диалектике и физике, но занятия философией были ему не по душе. Его по-прежнему влекло лишь к науке, исследующей сущность всех вещей, то есть к теологии. Уже с марта 1509 года он был утвержден библейским бакалавром, то есть получил первую

учено-богословскую степень и с нею право читать о некоторых книгах Св. Писания. Впрочем, профессорская деятельность продолжалась на этот раз недолго: его скоро отозвали по делам ордена в Эрфурт, а в 1511 году по тем же делам послали в Рим.

Подробности этого путешествия известны мало. Единственный источник – воспоминания самого Лютера, рассеянные в разных сочинениях, в основном в “Застольных речах”. Но воспоминания, записанные в позднейшее время, вряд ли могут дать вполне верное представление о первоначальных впечатлениях Лютера. Они все окрашены мрачным оттенком его позднейших пристрастных суждений обо всем, что имеет какое-нибудь отношение к Риму. На человека с воображением Рим, как безгласный свидетель многовекового славного прошлого, и в настоящее время производит сильное, граничащее с благоговением впечатление. Как же он должен был поразить путешественника, проникнутого высшим религиозным одушевлением? И действительно, даже в позднейших воспоминаниях Лютера о Риме, проникнутых горечью и негодованием, еще звучат отголоски его тогдашних благочестивых восторгов. Он сам рассказывает, что, когда пред ним засверкали священные купола храмов вечного города, он пал ниц, поднял руки к небу и воскликнул с умилением: “Приветствую тебя, священный Рим, трижды священный от крови мучеников, здесь пролитой!” По приезде в город он немедленно принялся бегать по церквам и везде служил обедню. По его собственным словам, он так усердно пользовался своим правом священнослужения, что “ему почти приходилось жалеть, что отец и мать его оставались в живых, так как он охотно избавил бы их от чистилища своими молитвами”. Он посетил все церкви и пещеры, прикладывался ко всем мощам. Но самое сильное впечатление произвела на Лютера базилика св. Петра как олицетворение здания церкви Христовой. На коленях поднялся он по лестнице, ведущей к храму, для получения назначенного за этот подвиг отпущения грехов.

Таковы были чувства и настроение Лютера после приезда в Рим, настроение и чувства пламенного католика и монаха. Но именно эта поездка, на которую он раньше возлагал столько надежд, должна была в значительной степени охладить его слепое поклонение папе. Уже при самом вступлении на землю Италии его поразили контраст между немецкой религиозностью и индифферентизмом, даже неверием итальянцев. Он был возмущен кощунством, с которым итальянские монахи нарушали церковные постановления о посте. Лютер явился в столицу христианского мира со всем религиозным воодушевлением немца, с глубокой верой в святость служителей западной церкви, но его ждало полное разочарование.

Он с ужасом вспоминает впоследствии о виденной им нечестивости римлян, об алчности и разврате духовенства, и передает пословицу, бывшую тогда в ходу: если есть ад под землей, то Рим построен на его сводах. И что было для него всего ужаснее – всей этой грязью, всеми этими чудовищными пороками, о которых он боится распространяться из опасения осквернить слух своих соотечественников, было запятнано не только низшее духовенство, но в еще большей степени высшие сановники духовной иерархии, сам папа. На такого слепого обожателя папства, каким был до сих пор Лютер, римские впечатления должны были подействовать убийственно-отрезвляюще. Недаром он говорил впоследствии, когда отрешился от связывающих его уз традиции, что не взял бы и ста тысяч талеров за свою поездку в Рим, которая ему открыла глаза.

Тем не менее, мы сильно преувеличим значение этого путешествия, если вообразим, что именно оно произвело переворот в убеждениях Лютера, сделало его из горячего приверженца папства его страстным врагом. Как ни потрясло Лютера все виденное и слышанное в Риме, оно все-таки не поколебало его основных воззрений; ненависть и презрение, которые вызывали в нем недостойные служители церкви, только усиливали его сострадание к самой церкви. Его позднейшее враждебное отношение к ней произошло не от разочарования в лицах, а от изменившегося взгляда на самые коренные начала религии. Еще в продолжение многих лет после этого путешествия мы замечаем в Лютере то же строго церковное отношение к верховному авторитету тогдашнего христианства, которое он усвоил себе с юношеских лет, и даже в 1517 – 1518 годах он еще делает строгое различие между папством, в лице данного его представителя, и первоначальным призванием папы как главы католической церкви.

Зато впоследствии все эти римские впечатления, в которых Лютер в свое время боялся даже разбираться, должны были ожить в его памяти с новой силой и послужить материалом для тех пламенных обличений Рима, которые, находя отклик в общественном мнении, нанесли столь тяжкий удар могуществу церкви. Одно только ясно осознанное чувство вынес он из этого путешествия – нерасположение доброго немца к итальянцам. Его национальная гордость возмущалась пренебрежением, которое последние открыто высказывали немцам. В Риме Лютер слышал хвастливые речи монахов, утверждавших, что папский мизинец сильнее всех немецких властителей, взятых в совокупности; слышал обидные клички, даваемые добродушным, но неповоротливым его соотечественникам. Он уловил отличительные свойства итальянского характера; коварство, интриги, двоедушные итальянцев, обилие красивых лицемерных фраз, внешний лоск

и мягкость, под которыми часто скрывалась внутренняя пустота и бессодержательность – все это внушало и негодование, и отвращение прямодушному тюрингенскому крестьянину. Можно сказать, что в Италии Лютер научился ненавидеть Италию.

Со времени поездки в Рим до 1512 года о Лютере не сохранилось почти никаких известий; но в 1512 году в жизни его произошло новое знаменательное событие. Он получил степень доктора богословия с правом толкования библии. В этом опять-таки сказались влияние Штаупица, возлагавшего на него большие надежды. Сам Лютер очень неохотно принял новое звание, боясь великой ответственности, связанной с ним, но в конце концов должен был уступить настояниям Штаупица.

Важность этого события заключается в том, что докторская степень положила начало общению Лютера с народом. Он вступил теперь на поприще, для которого обладал исключительными дарованиями. Сначала он сам не знал, какими обладает способностями, и в первые годы всегда со страхом всходил на кафедру. Но мало-помалу преодолел эту робость, вынесенную еще из родительского дома, и тогда-то проявилась во всей силе мощь его таланта, его умение владеть словом. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, Лютер стал проповедовать и для народа, так как в 1516 году назначен был проповедником в соборной Виттенбергской церкви. И успех его на этом поприще был громадный. Когда он проповедовал, церковь переполнялась народом; его слушали, затаив дыхание. Необходимо, впрочем, заметить, что Лютер действовал на толпу не ораторскими приемами, не новизной учения, а главным образом своею искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу слушателей.

Не меньшим успехом Лютер пользовался и на университетской кафедре. И тут он пока не заявлял себя особенной новизной взглядов. Он и сам еще продолжал учиться, то есть изучал Библию, не довольствуясь уже латинским текстом, а прибегая к оригиналу, для чего ему пришлось серьезно заняться греческим и еврейским языками, и результатами своих исследований делился со слушателями. Одно только было для него уже и тогда вполне ясно и несомненно – это идея об оправдывающем значении веры, которой он находил теперь подтверждение на каждом шагу. Вот почему он с особенной любовью изучал ту часть Нового завета, где говорится о значении веры с особенной выразительностью, именно послание к римлянам, которое и пояснял в своих чтениях наряду с другими посланиями апостола Павла и Псалмами. Но вообще в университетских лекциях Лютера, насколько можно судить по дошедшим до нас отрывкам,

выражается еще чисто правоверный, то есть католический, взгляд на церковь. Хотя он и замечал ее порчу, но твердо верил, что она в лице своего высшего представителя – папы – с любовью примет и оценит всякое благородное усилие вернуть ее к первоначальной чистоте.

Более решительной была его борьба со схоластикой. Лютер не мог примириться с тем, что христианская истина при схоластической системе преподавания доказывается не из ее первоначального источника – Св. Писания, а на основании философии языческого мудреца Аристотеля, с помощью всевозможных диалектических ухищрений. Его лекции были полны нападок на Аристотеля и схоластиков и находили отклик в сердцах не только молодежи, но и многих профессоров, которые постепенно примыкали к нему и начинали знакомиться со Св. Писанием.

В этом стремлении к преобразованию системы преподавания Лютер является отчасти союзником гуманистов. Во время спора Рейхлина с кельнцами он открыто принимает сторону первого. Но образ действий гуманистов, подвергших в “Письмах темных людей” жестокому осмеянию схоластиков и невежественных монахов, ему не понравился: по его мнению, насмешки и ругательства ни к чему не ведут. По той же причине он был недоволен и Эразмом, так как последний, хотя и уличает монахов и священников в невежестве, но мало говорит об учении Христа. “Читая сочинения Эразма о порче церкви Христовой, – жаловался Лютер, – нельзя не смеяться, тогда как, напротив, следовало бы плакать”.

Таким образом, вся деятельность Лютера за этот период имеет более положительный, чем отрицательный характер. Он только старается поставить на первое место авторитет Св. Писания и передать своим слушателям те утешения веры, которые вернули покой его собственной душе. Даже борьба со схоластикой вряд ли могла иметь какие-нибудь выдающиеся последствия, по крайней мере непосредственно, так как для масс она представлялась лишь спором между учеными. Еще меньше опасности для церкви представляла деятельность Лютера как проповедника. Идея о спасении верой, об оправдывающем действии благодати высказывалась, как мы уже видели, и до Лютера, а между тем, несмотря на это течение в церкви, рядом с ним все сильнее развивалась система противоположная, благодаря которой истинное религиозное чувство выродилось в массах в чисто формальное внешнее благочестие. Если бы Лютер остался на этой теоретической почве, он никогда бы не стал тем реформатором, который вывел церковь на новый путь. И действительно, великое дело реформы началось не с серьезного догматического спора, а с одного внешне незначительного вопроса

церковной практики – вопроса об индульгенциях. Почему? Это сейчас выяснится.

## Глава III. Разрыв с Римом

Прежде чем перейти к знаменитому спору, положившему начало реформации, мы должны сказать несколько слов о самой теории индульгенций.

Индульгенция состояла первоначально в отпущении церковной епитимьи, с согласия всех членов общины. Эту епитимью, заключающуюся в бичевании, путешествии к святым местам и тому подобном, дозволялось в некоторых случаях заменить уплатой денег. Следовательно, индульгенция касалась только внешней части покаяния, но не освобождала от грехов; для отпущения последних служило таинство покаяния, в котором верующему и раскаявшемуся грешнику грехи отпускались самим Богом, устами священника. Однако с течением времени в западной церкви индульгенция перешла и на само разрешение грехов. А так как духовенство хотело обратить ее в особенную для себя привилегию, то в силу теории, созданной главным образом великим систематиком западной церкви Фомой Аквинским, в основу индульгенции была положена совершенно другая идея – о преизобилующей заслуге Христа и святых. Христос, – учила церковь, – принес большую, чем нужно было, жертву правосудию Божию; одной капли пречистой крови Его было бы достаточно для очищения грехов всего рода человеческого; все же остальное, вместе с заслугами праведников, также совершивших более требуемого, откладывается главою церкви в виде особого капитала, или запаса, который в случае нужды обращается в частную пользу немощного члена церкви, восполняя недостаток его добрых дел и заглаживая грехи его соответствующим количеством чужих заслуг. Но так как уже в крови Христовой запас бесконечно велик, то ни количество, ни срок раздаваемых отпущений никогда не могут его истощить. Папа один имеет право распоряжаться этими сокровищами как полною собственностью церкви. Со стороны получающего не требуется даже веры в действительность отпущения, потому что разрешительная благодать сообщается ему независимо от его личного достоинства. Правда, требовалось сокрушение сердца, то есть желание получить индульгенцию, и предварительная исповедь, но продавцы разрешительных грамот не особенно настаивали на этом пункте.

С XIV века начинаются особенные злоупотребления отпущением грехов под покровом всемирных юбилеев. Папа Бонифаций VIII, назначив столетний юбилей в 1300 году, обещал полное прощение грехов всем

христианам, которые в этом году посетят всемирную столицу, с обязанностью совершить в ней разные подвиги благочестия. Конечно, богатые подаяния стекались этим путем в папскую казну, но они предоставлены были личному усердию паломников. В 1350 году Климент VI, рассудив, что предшественник его слишком мало позаботился о потомстве, сократил срок юбилея на целых 50 лет. А преемники его уже с большей смелостью шли по этому пути и “из любви к христианству” сократили юбилейный срок на четверть столетия, а потом и еще больше. Так, вслед за юбилеем 1470 года были назначены юбилеи в 1475, 1489, 1500, 1509, 1517 годах. Но огромные суммы, стекавшиеся таким путем в римскую курию, с удивительной скоростью поглощались безумной расточительностью наместников св. Петра. Массовые отпущения оказывались недостаточными. И вот от лица папы, за собственной печатью его, стали исходить буллы, утверждавшие за известными храмами и монастырями право частной продажи индульгенций.

В начале XV века Германия стала главной жертвой римской эксплуатации. Здесь папы прямо отдавали на откуп сокровища церкви высшим сановникам иерархии, которые и делились с ними сборами. Комиссары эти, в свою очередь, на тех же условиях нанимали субкомиссаров, большей частью купцов, торговавших, таким образом, грехами человечества. Иннокентий VIII присвоил себе даже право выводить из чистилища души умерших грешников. Из всех народов Европы немцы, благодаря своей религиозности и простодушию, особенно легко попадались на эту удочку. Несмотря на правительственное противодействие периодическому разорению народа, несмотря на частые опровержения этой теории многими учеными, она действовала с непрерывно возрастающей силой.

В 1508 году Юлий II открыл для римского престола новый источник доходов известной буллой, обещавшей полное отпущение грехов за пожертвование чего-либо для постройки базилики св. Петра. Его преемник Лев X продолжил его дело. Этот папа из знаменитого дома Медичи, в высшей степени образованный человек, был лишен всякого нравственного чувства. К религии он относился совершенно индифферентно, признавая ее необходимой только для масс, как средство держать их в повиновении, и все свое время проводил в кругу гуманистов, художников и литераторов, совершенно пренебрегая своими пастырскими обязанностями. Чтобы закончить постройку базилики св. Петра, которую он желал сделать восьмым чудом света, он издал в 1517 году буллу о всеобщем прощении грехов.

Единственным средством для борьбы с подобными злоупотреблениями могла быть сильная центральная власть, но в Германии ее не было. Император должен был из политических соображений потворствовать папе; курфюрст и архиепископ Майнцский и Магдебургский, примас Германии, Альбрехт Бранденбургский, бывший, подобно Льву X, гуманистом и покровителем наук и искусств, сам предложил свои услуги в качестве главного комиссара по продаже индульгенций в своей епархии. Альбрехт, конечно, соединял с этой операцией свои личные выгоды: не имея средств заплатить за свой архиепископский палий 30 тысяч гульденов, следовавших курии, он принужден был сделать заем у богатого банкирского дома Фугтеров во Франкфурте. Этот долг он и надеялся уплатить вырученными на свою долю деньгами от продажи индульгенций. С этой целью пригласил для проповеди и продажи отпущений доминиканца Тецеля, человека с сомнительной репутацией, но с несомненным ораторским дарованием. Тецель избрал ареной своей деятельности Лейпциг и его окрестности. В пламенных выражениях он выхвалял народу чудодейственную силу своего товара. У него была особая такса для каждого преступления: 7 червонцев за простое убийство, 10 – за убийство родителей, 9 – за святотатство и так далее.

Тецеля принимали с великим почетом во всех городах. Мужчины и женщины, богатые и бедные сбегались к нему за разрешительными грамотами; даже нищие приносили свои последние гроши, чтобы смыть свои грехи и избавить души близких от мук чистилища. Несметные суммы стекались в ящик ловкого продавца. Люди более образованные негодовали, но никто не осмеливался громко протестовать против вопиющего злоупотребления. Университет, духовные власти, магистраты оставались безгласны. И вот среди этого позорного молчания, в невзрачной церкви небольшого немецкого городка вдруг раздался обличительный голос, пронесшийся с неслыханной силой по всему католическому миру.

Уже при первом появлении Тецеля Лютер в разговорах с близкими выражал свое негодование по поводу этого возмутительного торга человеческими грехами, но высказываться публично о подобном вопросе он считал себя не призванным. Для этого понадобилось, чтобы Тецель, так сказать, вторгся в его собственные владения. Правда, курфюрст Саксонский, несколько не сомневавшийся в действительности индульгенций, но только не желавший выпускать из своей страны денег, запретил Тецелю продажу индульгенций в Саксонии, и тот, таким образом, должен был остаться на земле своего патрона, архиепископа

Магдебургского. Но он приближался к Саксонии, насколько мог, и летом 1517 года появился в Югер-боке, в четырех милях от Виттенберга. Тогда только, видя, что собственные его прихожане начинают бегать к Тецелю за покупкой индульгенций, Лютер счел своим долгом протестовать и в своих проповедях стал доказывать народу, что отпущение грехов дается только людям искренне раскаявшимся и живущим согласно заповедям Божиим и что лучше давать деньги нищим, чем платить за индульгенцию. Когда первые опыты оказались безуспешными, он решился довести дело до сведения своего непосредственного начальства. Лютер не мог не знать, что архиепископ Альбрехт глава и душа экспедиции, но он полагал, что тот грешит по неведению и что его долг – открыть последнему глаза на совершающиеся под его покровительством безобразия. Обращался он и к окружным епархиальным начальникам, прося их заступничества за народ. Но только один из них удостоил его ответа, да и то советовал не браться за такое опасное дело и не наживать себе врагов. Не довольствуясь проповедью, Лютер стал заводить и в университете, и в монастыре частные диспуты по этому вопросу. Между тем, многие прихожане возвращались назад с индульгенциями и, к великому ужасу Лютера, объявляли ему на исповеди, что не хотят изменить своего образа жизни, а когда он отсылал их без разрешения, то ссылались на папские разрешительные грамоты и жаловались Тецелю. Эти безобразия решили дело. Лютер убедился, что простым протестом с кафедры ничего не поделаешь и что торг индульгенциями может в скором времени развратить всю его общину. Его прямой долг пастыря требовал, чтобы он употребил все доступные ему средства против угрожающего зла. К этому же побуждали его с разных сторон. Хотя власти молчали, но благомыслящие люди давно уже возмущались проделками Тецеля. Лютер был самым выдающимся и уважаемым ученым при университете. К нему и устно, и письменно, друзья и незнакомые обращались за советом, спрашивали его мнения о действительности отпущения. Сам Штаупиц давно уже уговаривал его публично высказаться и обсудить этот вопрос. Лютер не мог дольше колебаться и наконец заговорил.

1 ноября 1517 года, в праздник всех святых, в дворцовую Виттенбергскую церковь ожидался большой прилив светских и духовных лиц, так как участникам в церковном празднестве были обещаны широкие отпущения грехов. Обычай требовал, чтобы университет почтил торжество академическим актом. Этим обычаем и воспользовался Лютер, чтобы открыто возбудить вопрос о действительности отпущений и пригласить всех участников к серьезному обсуждению. С этой целью он написал 95

тезисов и накануне праздника, 31 октября, прибил их к воротам церкви.

Что представляют собой эти знаменитые тезисы? Не более как ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека и что всякий внешний акт для примирения с Богом, в виде денежной жертвы и тому подобного, недействителен. Те отпущения, которые в состоянии дать церковь, касаются только канонических, установленных людьми наказаний, но не ниспосылаемых Богом и особенно наказаний в чистилище. В существование последнего Лютер еще верит. Папа, по его мнению, может только заступиться своими молитвами за души грешников, но услышать его или нет, зависит от Бога. Вообще, отпущение следует ценить не выше чем другие добрые дела, даже ниже, ибо подавать бедным и нуждающимся – лучше, чем покупать индульгенцию. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное отпущение греха и наказаний и принимает участие в сокровище церкви и без индульгенций благодаря единственно благодати Божией. Истинное сокровище церкви – не заслуга Христа и святых, ибо эти заслуги, по словам Писания, действуют постоянно и без помощи церкви, – а святое евангелие, возвещающее славу и благодать Божию.

Без сомнения, Лютер здесь не пропагандирует никаких еретических идей. Это августино-бернардовское учение о том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния, непрерывным стремлением к самоусовершенствованию и выражаться в постоянных внешних делах благочестия, давно уже было известно. Об оправдании верой здесь почти не говорится, и не от веры, а от раскаяния Лютер ставит в зависимость отпущения грехов. В своем осуждении индульгенций он не идет дальше многих других богословов, уже раньше высказывавшихся против них. Папу также не обвиняет прямо, даже отчасти оправдывает. “Надо учить христиан, – говорит он в пятидесятом тезисе, – что если бы папа знал про вымогательства продавцов индульгенций, то предпочел бы, чтобы церковь св. Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы”. В своих прежних проповедях об оправдании Лютер затрагивал гораздо более опасные для церкви вопросы. А между тем именно эти тезисы выдвинули его на арену всемирной истории и с этой точки зрения уже современниками справедливо считались началом реформации. Это был пункт, где сходились самые разнородные интересы. Начиная от князей и кончая последним поденщиком, всякий так или иначе был заинтересован в решении вопроса. Не только светские, но и многие духовные владельцы были недовольны тем, что немецкие деньги в таком громадном количестве уплывают за Альпы. Интересы экономические тесно соприкасались здесь с религиозными.

Наконец, вся патриотически-национальная и социальная оппозиция, в течение столетий накоплявшаяся в Германии, могла найти в этом вопросе своего рода лозунг. Лихорадочно возбужденные умы современников читали между строк тезисов многое такое, о чем Лютер и не думал, когда писал их. Современникам поступок Лютера казался более важным и богатым последствиями, чем ему самому. До сих пор подобные вопросы обсуждались только в кабинетах ученых – теперь они были отданы на суд толпы. Это ошеломляло, возбуждало восторг; казалось, свежая струя воздуха проникла в невыносимо душную атмосферу, в которой задышалось тогдашнее общество. Все вздохнуло свободнее и разом заговорили.

Итак, впечатление, произведенное тезисами, было громадным. Хотя они были написаны по-латыни, но вскоре появились и немецкие переводы; пилигримы разнесли их по домам. Не прошло и 14 дней, как тезисы обошли всю Германию, а через четыре недели они стали известны всему христианству. Везде – в хижинах бедняков, лавках купцов, кельях монахов, дворцах князей – только и было разговора, что о знаменитых тезисах и смелости виттенбергского монаха. Сам император, как рассказывают, велел сказать курфюрсту, чтобы он приберег монаха, так как он может еще понадобиться.

Но Лютер вовсе не был доволен поднявшимся шумом. Он не ожидал его и боялся последствий. “Я был один, – рассказывает он впоследствии, – и лишь по неосторожности вовлечен в это дело... Я не только уступал папе во многих и важных догматах, но и чистосердечно обожал его, ибо кто был я тогда? Ничтожный монах, походивший скорее на труп, чем на живое тело”. Эта мысль о том, что он против воли был вовлечен в спор, повторяется в самых разнообразных формах в позднейших его сочинениях, когда ему не было причины скрывать истину. И что бы ни говорили некоторые писатели-католики, желающие представить реформатора коварным, действующим исподтишка агитатором, не подлежит сомнению, что, выставляя свои тезисы, Лютер и не думал бросать вызов Риму. Он просто назначал ученый диспут, так как в то время прибитие тезисов к стенам собора, на воротах ратуши или на других открытых местах было обычным приемом, посредством которого известие о готовящемся диспуте доводилось до всеобщего сведения.

Но если сам Лютер не видел в своем поступке ничего противозаконного, то в лагере противника сразу почувствовали силу удара и подняли страшный шум. Первым выступил, конечно, Тецель. Он выставил против тезисов Лютера свои 106 антитезисов, в которых очень ловко старался свести спор на почву папской непогрешимости.

Доминиканцы устроили демонстрацию в честь своего собрата и праздновали победу. Но в Виттенберге тезисы Тецеля потерпели фиаско. Студенты собрали до 800 экземпляров и торжественно сожгли их на площади.

Скоро против Лютера раздался голос и из Рима. Фанатик-доминиканец Сильвестр Приерий, папский цензор и инквизитор, высказался против тезисов самым решительным образом. Другой доминиканец, Гогстратен, известный своим участием в Рейхлиновском споре, прямо требовал сожжения “еретика”.

Лютер первое время был сильно встревожен неожиданным оборотом дела. Члены его ордена не могли поддержать его мужества – напротив, они, советовали замять дело. Книга Приерия показывала, как будет реагировать Рим. Но страх за будущее не ослабил в Лютере решимости твердо стоять за дело, которое он считал правым. Борьба разбудила дремавшие в нем инстинкты борца. К тому же, когда прошло первое изумление, вызванное его смелостью, он стал получать с разных сторон выражения сочувствия. Университет, вначале выказывавший некоторую нерешительность, теперь окончательно принял его сторону. Курфюрст, дороживший Лютером как незаменимым профессором, которому близкий его сердцу университет был обязан своим процветанием, также выказывал ему особенное благоволение и, когда Лютер в апреле 1518 года отправился на конвент своего ордена в Гейдельберг, дал ему охранную грамоту. По этому поводу в Гейдельберге был устроен диспут, результатом которого было то, что на сторону Лютера перешли некоторые молодые ученые и студенты.

Нападки противников, с одной стороны, и поддержка друзей, с другой, побудили Лютера сделать еще один шаг по новому пути. По возвращении из Гейдельберга он закончил свои латинские объяснения к тезисам под названием “Resolutiones” – самое значительное произведение в этот период. Здесь Лютер идет уже дальше, чем в тезисах. Он делает различие между решением папы и постановлением собора, которое одно только может считаться непогрешимым, а по поводу отпущения грехов говорит, что хотя Бог и дарует его через служителя церкви, но дарует лишь за одну веру в божественную благодать, причем самое прощение может быть выражено и устами простого мирянина. Из этого логически следовало, с одной стороны, что отпущение, даваемое священником, и само таинство не приносят исповедующемуся никакой пользы, если он внутренне не проникся верой, а с другой, что истинно верующий получит прощение от Бога и в том случае, если священник самовольно откажет ему в отпущении. Так Лютер разрывал могучую цепь, с помощью которой церковь приковала

души к своим иерархическим органам. Лютер глубоко смирил человека пред Богом, отказывая ему в возможности спастись при помощи собственных заслуг и добрых дел и ставя его спасение в зависимость от одной лишь благодати Божией (так как и вера дается человеку лишь в силу последней). Но зато он сделал человека свободным от людей – это и была та “христианская свобода”, которую реформатор возвестил своим учением.

Впрочем, Лютер еще не отрицал обязательности внешних наказаний, налагаемых церковью и папой. В этой чисто внешней области он еще признавал за папой власть, происходящую от Бога. Во всем, что не касается веры, писал он, христианин должен терпеливо сносить даже злоупотребления властей и незаслуженные страдания.

Но тут возникал вопрос: кому же принадлежит авторитет в делах веры, где вообще следует искать высшие нормы и источники христианской истины? В этом отношении Лютер лишь постепенно и после сильной внутренней борьбы выработал себе ясный и последовательный взгляд. Впрочем, в самой католической церкви на этот счет еще не было вполне установленного мнения. Учение о непогрешимости папы и безусловном авторитете его решений, хотя и провозглашенное томистами и принятое папами, не было еще догматом; оно стало таковым лишь в недавнее время – в 1876 году. Рядом с этим учением многие теологи, не рискуя прослыть еретиками, доказывали, что и папа может ошибаться и что последнее решение в вопросах веры принадлежит Вселенскому собору. Таково было, между прочим, мнение Парижского университета. В XV веке высказывались безнаказанно даже такие взгляды, что и решения соборов не всегда отличаются непогрешимостью. В одном только не допускалось сомнения – что те постановления соборов, которые были признаны и папами, представляют безусловную божественную истину и что вселенская церковь не может ошибаться.

Фактически Лютер давно уже признавал единственным авторитетом Св. Писание, но в то же время не хотел отказаться от согласия с церковью. И теперь еще он жалуется на недобросовестность противников, клеветующих на него, будто в его сочинениях кроется “чешский яд”. Он не допускает и мысли, что собор может ошибаться, и готов отдать свое учение на суд подобного собрания, хотя в то же время нигде не заявляет прямо, что наперед и безусловно подчиняется его решению. Он так убежден в истине своего учения, что, видимо, и не сомневается в его торжестве при беспристрастном исследовании.

Также не вполне выработался еще взгляд Лютера на папу. Хотя он и отрицает непогрешимость последнего, но не отказывается от подчинения

ему. Он еще убежден, что главенство в церкви и вся власть, обозначенная в каноническом праве, получены папой от Бога. Смирение и покорность, свойственные ему как монаху не менее, чем страх перед опасностями, угрожающими христианству в случае раскола в церкви, заставляют его делать папе всевозможные уступки. Лютеру важно только одно – чтобы папа разрешил свободную проповедь Евангелия, под которым он разумел главным образом свое учение об оправдании одной верой, и прекратил несовместимый с этим учением торг индульгенций. При таких условиях он считает еще возможным оставаться верным сыном церкви. Даже сами “Resolutiones” он посвящает папе. Письмо от 30 марта 1518 года, при котором Лютер препровождает Льву X свое сочинение, лучше всего рисует нам тогдашнее двойственное состояние души реформатора. Вначале он жалуется на обстоятельства, которые заставили его, охотнее всего остающегося в тени, выступить на арену, уверяет, что совесть его чиста и что он не может взять своих слов назад. В конце же послания он смиренно бросается к ногам папы, готов признать его голос за голос самого Христа, говорящего его устами, говорит, что если заслужил смерть, то не откажется принять ее. Заявления же, что он не может отказаться от своего учения, он все-таки не берет назад.

Но надежды Лютера, что церковь сама возьмет в свои руки дело преобразования и избавит его от тяжелой необходимости объявить ей войну, не могли оправдаться. Рим не мог и не желал пожертвовать ни одним камешком из того стройного, веками создававшегося здания, которое было им воздвигнуто для порабощения умов, и рано или поздно должен был поразить смелого новатора всей силой своего гнева.

Вначале, впрочем, церковь отнеслась очень легко к возникшему спору. Лев X увидел во всем этом деле простой спор между двумя соперничающими монашескими орденами, а про тезисы выразился, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Но скоро окружающие убедили его, что дело более серьезно. В Риме была назначена комиссия для разбора его, и сам Лютер получил приглашение явиться в суд, для чего ему дан шестидесятидневный срок. Чего можно было ожидать от этого суда, было ясно уже из того, что единственным ученым теологом в комиссии был Приерий, еще раньше заклеймивший Лютера как еретика. В то же время папский легат, кардинал Каетан, получил поручение ходатайствовать у императора об искоренении “гуситского яда”.

Лютер ясно видел надвигающуюся грозу. Он понимал, что ехать в Рим – значит идти на верную гибель, и через своего друга Спалатина, бывшего

советником у курфюрста, просил последнего не давать ему разрешения на поездку. Университет также заступился за него и ходатайствовал, чтобы Лютера судили в Германии. Против ожидания, Рим оказался довольно сговорчивым, и Каетан, ввиду выраженного курфюрстом желания, милостиво согласился выслушать строптивного монаха в Аугсбурге, где в то время заседал имперский сейм.

Дело в том, что, наряду с религиозным протестом Лютера, в Германии в это время стали настойчиво раздаваться другие протестующие голоса, с которыми папа поневоле должен был считаться.

В то время, как вопросы чистой догматики, вопросы об основаниях и источниках христианской истины, находящиеся в связи с учением об индульгенциях, были впервые подняты только Лютером, злоупотребления папы на внешней церковной почве, тесно соприкасавшейся с политическими и экономическими интересами страны, давно уже возбуждали всеобщие жалобы в Германии. Эти жалобы высказывались князьями и имперскими чинами, которых нельзя было запугать никакими теориями о непогрешимости папы и угрозами церковного отлучения, – высказывались без всякого отношения к вопросу о божественном праве папства. Сам Лютер вначале обнаруживал поразительное незнание с тогдашним положением вещей. Восставая против продажи индульгенций в интересах спасения душ, он и не думал о том, что этим самым играет на руку церковной оппозиции. Но у людей более дальновидных, естественно, должно было возникнуть опасение, что недовольные члены нации и церкви воспользуются проповедью монаха для своих целей.

При таком-то настроении умов, на сейме в Аугсбурге, летом 1518 года папский легат от имени папы потребовал от Германии новых денежных жертв. Деньги предназначались для похода против турок, но злые языки утверждали, что деньги нужны папе для иных, менее бескорыстных целей. Против ожидания, император Максимилиан, несмотря на свои прежние столкновения с папой, стал на его сторону. Престарелый монарх хлопотал тогда о том, чтобы обеспечить императорскую корону за своим внуком Карлом, и боялся противодействия папы. Оставалось только склонить на свою сторону имперские чины. Но тут-то и сказалось недовольство нации. Сейм не только отказал в требуемых деньгах, но открыто заговорил о злоупотреблениях курии, об огромных суммах, которые он вытягивал из Германии посредством аннатов, палий и т.п., о постоянном нарушении конкордатов. Это обстоятельство и оказалось спасительным для Лютера. Чтобы не поднять слишком много шума и не обратить внимания сейма на опасную деятельность виттенбергского монаха.



*Император Максимилиан на триумфальной колеснице, увенчиваемый олицетворениями добродетелей*

Каетан решил быть с ним как можно более мягким и, когда Лютер явился в Аугсбург, принял его весьма ласково и отечески увещевал отречься от своих заблуждений. Но на Лютера эта любезность мало подействовала. Он рассчитывал, что будет иметь возможность открыто защищать свои взгляды, готовился даже положить за них голову. Но вышло совсем не то. Правда, при втором свидании кардинал, видя, что Лютер не поддается, удостоил даже вступить с ним в спор и стал доказывать ошибочность его взглядов. Но точки зрения обоих людей были слишком различны, чтобы они могли понять друг друга. Один ссылался на учение Фомы и папские буллы, другой требовал доказательств из Св. Писания. Наконец Каетан потерял терпение и оборвал спор лаконичским возгласом: “Revoca! revoca (отрекись!)” Лютер, в пылу спора, также утратил свою сдержанность и высказал противнику несколько горьких истин. Тогда

разгневанный кардинал приказал ему удалиться и вернуться только в том случае, если он согласится отречься.

Тем и кончилось свидание, на которое Лютер возлагал такие большие надежды. Опасаясь за свою безопасность, он по совету друзей ночью 20 октября тайно оставил Аугсбург, предварительно написав обычную апелляцию к папе.

Каетан пожаловался курфюрсту, требуя от него, чтобы он послал Лютера в Рим или изгнал из своих владений. Но Фридрих ответил на его письмо только через четыре недели, и притом в таком смысле, что нельзя требовать от Лютера отречения, пока ему не доказана ложность его учения, и что надо дать ему возможность защищаться и выслушать мнения университетов.

Попытки к примирению со стороны Рима не ограничились, впрочем, одними аугсбургскими переговорами. Новый посланник папы, Карл Мильтиц, родом саксонец, имевший, между прочим, поручение задобрить Фридриха высшим знаком папского благоволения – Золотой Розой, взялся за дело очень ловко. Он вызвал к себе Лютера в Альтенбург (в начале 1519 года) и обошелся с ним необыкновенно любезно, даже сердечно. Он сам стал горячо осуждать пред Лютером поведение Тецеля, откровенно сознаваясь, что в течение целого столетия ни одно дело не причинило Риму столько забот, как это; рассказывал, что во время своего путешествия изучал настроение умов и нашел, что на каждого приверженца папы приходится по три сторонника Лютера; открыто восхищался его мужеством, но в то же время говорил, что ему не следовало брать на себя такую ответственность и так сильно огорчать его святейшество. Говоря о вреде, который Лютер нанес святой церкви, Мильтиц даже прослезился. На прощанье он поцеловал Лютера.

Дипломатия Мильтица оказалась успешной. Лютер, правда, отнесся недоверчиво к его искренности: в письме к одному другу он даже называет его слезы “крокодиловыми”, а поцелуй – “поцелуем Иуды”. Тем не менее, видя такую мягкость со стороны курии, он не мог отказаться от некоторых уступок. Так, Лютер согласился написать папе письмо, в котором признавал, что был слишком резок в своих нападках на церковь, и снова выражал ей свою покорность. В таком же духе было написано им воззвание к народу. Само же дело его, по условию с Мильтицем, должно было быть передано на суд немецкого епископа, но с тем, чтобы, в случае, если Лютер не сумеет подчиниться его решению, он имел право апелляции к собору. В ожидании этого решения он отказывался от дальнейших споров, лишь бы и противная сторона соблюдала молчание.

Но, хотя Лютер в письме к папе от 3 марта и уверяет, что “никогда не имел и не имеет намерения нападать на власть римской церкви и папы” и признает, что “церковь выше всего”, его смирение на этот раз уже не было искренним. Уже 13 марта он писал Спалатину: “Я не знаю, есть ли папа сам антихрист или только апостол его”, а в другом письме он уже прямо заявляет, что антихрист, о котором говорит апостол Павел, управляет римской курией, прибавляя при этом: “Еще большее готовит теперь мое перо. Я и сам не знаю, откуда берутся у меня эти мысли. Это дело, по моему разумению, еще не началось, хотя высокие господа в Риме ожидают уже его конца”. И действительно, чем больше Лютер, продолжавший работать с лихорадочным жаром, углублялся в изучение папских декреталий и сравнивал их со Св. Писанием и постановлениями первых времен христианства, тем более раскрывалась перед ним та непроходимая пропасть, которая лежит между теми и другими. Тем не менее, узы, связывавшие его с Римом, были еще настолько крепки, что он решился не высказывать открыто этих новых мыслей и сделать все возможное для миролюбивого соглашения.

Но события шли своим чередом, и движение, раз начавшись, уже не могло быть насильно остановлено. Один из прежних почитателей Лютера, ингольштадтский профессор Экк, вначале вроде бы сочувствовавший новым идеям, теперь решительно перешел на сторону Рима. В последнее время он вел и литературную полемику с профессором Виттенбергского университета Карлштадтом, разделявшим многие взгляды Лютера, и вызвал его на диспут. Но оказалось, что тезисы, выставленные Экк-ком, направлены не столько против Карлштадта, сколько против самого Лютера, так как в них затрагивались такие вопросы, о которых писал только последний. Лютер принял это за вызов со стороны противоположного лагеря и, не считая себя более обязанным сохранять молчание, решил принять участие в готовящихся прениях.

Диспут состоялся в университетском городе Лейпциге, столице герцога саксонского Георга, который сам и устраивал его, несмотря на противодействие местного епископа. Георг был также в числе недовольных курией. Это была честная прямая натура. Хотя и воспитанный в строгом почитании церковной традиции, он искренно стремился к уяснению истины и надеялся, что личный обмен мыслей между враждующими сторонами даст им возможность лучше понять друг друга и прийти к соглашению. Диспут начался 27 июня. Открытие его произошло с обычной торжественностью, какую отличались все теологические состязания. Но по огромному стечению народа, по напряженному ожиданию собравшихся

чувствовалось, что дело идет не о простом схоластическом турнире. Главные противники были каждый в своем роде выдающимися диспутантами. Экк славился как искусный диалектик; в этом отношении он не уступал Лютеру, а познаниями в философии и теологии, особенно же в церковной истории и церковном праве, решительно превосходил его. Зато Лютер был силен в другой области. Он знал Августина основательнее, чем кто-либо; кроме того, был очень начитан и в других отцах церкви – восточных и западных и благодаря пятнадцатилетнему изучению превосходно помнил соответствующие отрывки из Библии. По поводу этого диспута мы имеем первую характеристику реформатора, принадлежащую одному из присутствовавших, профессору Мозеллану:

“Мартин Лютер, – пишет Мозеллан, – среднего роста, до того истощен заботами и трудами, что можно пересчитать все кости на его сухощавом теле; впрочем, в полной свежести и силе зрелого возраста. Голос имеет звучный и громкий. Он исполнен учености и знает в совершенстве Св. Писание, которое помнит почти наизусть. Греческий и еврейский понимает достаточно, чтобы судить о достоинстве толкований. Он обладает огромным запасом фактических сведений, речь его льется свободно. В обхождении он учтив и приветлив, не имеет ничего стоически-сурового и напыщенного, умеет принаравливаться к лицам и обстоятельствам. В обществе он весел, шутив и остроумен. У него всегда ясное лицо, как бы сильно ни угрожали ему противники. Трудно думать, чтобы он без благословения Божия мог предпринимать такие дивные вещи. Один лишь справедливый упрек делают ему все, а именно: он не соблюдает меры в полемике и обнаруживает больше едкости, чем это подобает теологу и учителю веры”.

Прения сначала завязались между Экком и Карлштадтом. В продолжение четырех дней оба противника диспутировали о свободе воли и отношении человека к благодати. Карлштадт, бойкий и самоуверенный на университетской кафедре, заметно пасовал перед уверенностью и находчивостью Экка. Особенно вредила ему слабая память, из-за которой он должен был поминутно рыться в разложенных пред ним книгах, чтобы отыскать нужный текст. Заметив эту слабую сторону, Экк потребовал, чтобы справки были запрещены. Спор нагнал на всех тоску, присутствующие засыпали; кончилось, по обыкновению, тем, что каждая из сторон осталась при своем мнении.

Но интерес собрания внезапно возрос, когда 4 июля взошел на кафедру Лютер. Экк сразу постарался свести спор на самую жгучую тему – на вопрос о папской власти. Лютер прежде всего стал настаивать на том, что

нужно еще доказать, будто власть римского папы – установление столь же древнее, как и сама церковь Христова; по его мнению, папская власть не древнее четырех столетий. Тут Экку легко было опровергнуть его. Но, когда он вслед за тем стал утверждать, что папство ведет свое происхождение от начала церкви и что все, что вне ее, достойно вечного осуждения, он сделал большую оплошность, которую Лютер и не замедлил воспользоваться. Где в Писании, где у отцов церкви первых веков говорится о папстве? – спрашивал он. – И неужели Экк считает подлежащими вечному осуждению всю греческую церковь и ее величайших отцов, каковы Григорий Назианзин и Василий Великий?

Теперь была очередь Экка смутиться. Но он ловко вышел из затруднения, сославшись на соборы. Так, в Констанце, например, было признано главенство папы: разве Лютер не признает авторитет соборов? Собор осудил Гуса, также отрицавшего безусловный авторитет папы, – признает это почтенный отец справедливым или нет? Это была ловушка. О гуситстве в Саксонии сохранилась самая дурная память. Нельзя было сильнее оскорбить немца, как прозвать его чехом. Все это Лютер знал и потому поспешил протестовать против позорящего его сравнения. По его мнению, гуситы заслуживают порицания уже за то, что отделились от церкви. Но когда после перерыва заседание было возобновлено, Лютер твердо заявил, что между положениями Гуса есть такие, которые вполне согласны с Евангелием, например, то, что существует только одна вселенская церковь (к которой принадлежит и восточная, хотя она и не признает папы) и что вера в верховенство римской церкви не необходима для спасения. При этом он прибавил, что никто не имеет права навязывать христианину такие верования, которые чужды Писанию, и что суждение отдельного христианина должно иметь больше значения, чем мнения папы или собора, раз оно более основательно.

Момент, когда Лютер выразился подобным образом об учении Гуса, осужденном собором как еретическое, был самый важный во всем диспуте. В зале произошло сильное движение. Герцог Георг покачал головой и громко произнес проклятие. И действительно, случилось нечто неожиданное, небывалое. Противоположность двух взглядов, которые в Лейпциге были развиты во всей их непримиримости, не имела ничего общего с разногласиями средневековых партий. Здесь не только подвергалась сомнению прямая преемственность пап от св. Петра, то есть прямо отрицалось историческое оправдание папской власти, но и оспаривался сам принцип авторитета. Никогда еще подобные вопросы не поднимались пред целой нацией. С этой минуты всякая надежда на

примирение должна была исчезнуть. А между тем сам Лютер в первую минуту даже не заметил, как далеко он зашел, и когда Экк выразил удивление, что “почтенный отец” противоречит признанному всем западным христианством Констанцскому собору, он прервал его словами: “Это неправда, я не говорил против Констанцкого собора”. Но на следующий день, поразмыслив, он привел четыре тезиса Гуса, которые, по его мнению, являются вполне христианскими, хотя и осуждены собором. Правда, он все еще старался смягчить впечатление, произведенное его словами, указывая на то, что собор только отчасти признал эти тезисы еретическими, отчасти же только необдуманно, и даже выразил мысль, что они по ошибке были названы в числе еретических. Но за папством он еще раз и решительно не признал божественного происхождения, разве только в том смысле, в каком он признавал его за всякой властью, например, императорской. Точно так же он остался при своем мнении, что и собор может ошибаться.

Пять дней продолжался спор на эту тему, но, конечно, без всякого результата. Другие прения, касавшиеся чистилища, отпущения и покаяния, после этого имели лишь второстепенное значение. 15 июля диспут прекратился, так как герцогу понадобилась зала для приема гостей. Решено было, что протоколы заседаний будут переданы для произнесения приговора Эрфуртскому и Парижскому университетам. Ни тот, ни другой, впрочем, не исполнили этой задачи.

Итак, Лейпцигский диспут не только не привел к соглашению, но вырыл непроходимую пропасть между обеими сторонами. Лютер окончательно оставил церковную почву. Признав открыто Св. Писание единственным авторитетом, он этим самым отпал от церкви.

Приверженцы папы, уверенные в том, что Лютер окончательно погубил себя в общественном мнении, праздновали победу. Экка везде чувствовали как победителя. Лютер и сам был недоволен результатами диспута. Он говорил, что в Лейпциге время было напрасно потрачено, что Экк и лейпцигские теологи заботились лишь о внешней победе, а не о торжестве истины. Особенно он был недоволен тем, что на диспуте мало говорили о самом важном пункте его учения – об оправдании верой.

Как бы то ни было, решительное слово было сказано, и Лютер не думал брать его назад. В изданном им отчете о диспуте он повторял все свои заявления, сделанные в пылу спора, с еще большей настойчивостью. Вообще, с этого времени Лютер идет по новому пути уже без всяких колебаний, хотя и знает, что Рим не оставит его в покое, и готов при первом требовании курфюрста отправиться в изгнание – в Париж или к чехам. Вся

страстность его природы, вся могучая энергия, которые раньше были обращены на борьбу с внутренним врагом, с собственными греховными наклонностями, теперь обратились на борьбу с врагом внешним, с его прежними кумирами. Не довольствуясь пропагандой своих идей в проповедях и лекциях, он проявляет с этих пор поразительную литературную деятельность. Сочинение за сочинением – то на латинском, то на немецком языке – выходят из-под его пера. Большинство из них полемического характера, ответы на новые нападения из римского лагеря. В этих произведениях, особенно в немецких, сказывался громадный писательский талант, поразительное умение владеть словом, но вместе с тем с особенной силой сказался тот свойственный Лютеру полемический задор, та несдержанность в выражениях, которую, как мы видели, осуждал в нем уже Мозеллан. Правда, и противники его не отличались умеренностью. Литературная полемика в те времена редко обходилась без ругани, но Лютер в этом отношении превзошел всех. Он сам сознавал в себе этот недостаток и оправдывал его своей горячностью.

“Не могу, – пишет он Спалатину, – отрицать, что я более резок, чем следует, но ведь мои противники отлично знают это – зачем же они дразнят собаку?.. Оттого-то я и неохотно выступаю на арену, но чем мне это неприятнее, тем более я увлекаюсь против своего желания, и это по милости гнуснейших обвинений, которые они возводят на меня и слово Божие. Что ты думаешь о Христе? Разве Он сквернословил, когда называл иудеев прелюбодеями и змеиным отродьем, ханжами, детьми дьявола? Или апостол Павел, называвший их собаками, соблазнительями и т.п.? Почему же Павел не прибегает к лести, чтобы обратить ложного пророка, а мечет громы?”...

О смутах, о гибельном расколе в церкви, которые могут возникнуть благодаря его пропаганде, он более не думает. Напрасно Лютера при дворе стараются удержать от новых шагов. Всякий раз, когда Спалатин именем курфюрста просит его не печатать нового воинственного сочинения, он получает в ответ, что уже поздно, что корректурные листы уже отпечатаны и разошлись по рукам. Монах в реформаторе замолк: Лютер не останавливается более ни пред какими последствиями. “Заклинаю тебя, – отвечает он на опасения Спалатина, – если ты предан Евангелию, то не должен думать, будто можно вести его дело без смут, соблазнов и возмущения. Нельзя сделать из меча – перо, из войны – мир. Слово Божие – это меч, война, разрушение, соблазн, гибель, яд”...

Тон, как видим, совершенно новый. И причину его следует искать не в одном только внутреннем освобождении Лютера от сдерживающих его уз.

Дело в том, что, когда реформатор заговорил этим новым языком, он имел уже союзников, с которыми мог спокойно ожидать громов римского престола.

## Глава IV. Лютер – реформатор Германии

“Я был один и лишь по неосторожности вовлечен в это дело”, – писал Лютер о том времени, когда он вступил в борьбу с Тецелем. Не прошло, однако, и двух лет, и декорация совершенно переменялась. Теперь Лютер не был уже один на арене борьбы: за него и его дело стояла целая толпа ученых и богословов. Многочисленные типографские станки были заняты печатанием произведений его сторонников, распространявших идеи Лютера и прославлявших его на разные лады. Его собственные латинские сочинения немедленно переводились на немецкий язык, а о сочинениях, написанных им прямо для народа, по-немецки, и говорить нечего – они были нарасхват и обогащали книгопродавцев. Воодушевление нации все росло по мере того, как Лютер приближался к разрыву с Римом, и увлекало его самого в своем неудержимом потоке.

Особенно важное значение имело для Лютера его сближение с гуманистами. Вначале, когда только появились его тезисы, последние отнеслись к ним довольно индифферентно. Один из наиболее видных представителей гуманизма, Гуттен, отозвался о споре Лютера с Тецелем так же, как Лев X: он назвал его ссорой двух монахов и выразил желание, чтобы обе враждующие стороны взаимно перегрызли друг друга. Вообще, религиозно-догматическая точка зрения, на которой стоял Лютер, была чужда этим свободомыслящим людям. Да и само учение Лютера о несвободе воли, об испорченности человеческой природы шло вразрез с гуманистическим мирозерцанием, которое явилось плодом изучения классической древности и в котором как будто возродились идеалы гордого, свободолюбивого и уверенного в своих силах языческого мира.

Однако мало-помалу гуманисты поняли, куда ведет протест виттенбергского монаха, и один за другим стали переходить на его сторону. Одним из первых, заинтересовавшихся новым учением, был молодой, только что приглашенный в Виттенберг на кафедру древних языков Филипп Меланхтон, сделавшийся скоро главным сподвижником реформатора, а после его смерти – преемником и продолжателем. Несмотря на свою молодость, Меланхтон слыл уже одним из главных светил гуманизма. Это был блестящий, необыкновенно рано развившийся ум. Уже в 12 лет он поступил в Гейдельбергский университет, в 14 имел степень бакалавра. В 1512 году Рейхлин, принявший под свое покровительство рано осиротевшего и приходившегося ему родственником мальчика,

отправил его в Тюбинген, где было много выдающихся ученых. Здесь Меланхтон проходил одновременно курсы теологии, медицины и юриспруденции; не было такой отрасли знания, которой бы он не интересовался. В 1514 году 17 лет от роду, он был уже доктором философии и читал лекции, привлекавшие слушателей, а в 21 год был приглашен Фридрихом Мудрым в Виттенберг на вакантную тогда кафедру древних языков. Первое впечатление, произведенное Меланхтоном на своих коллег, было невыгодное и совершенно не соответствовало ожиданиям. Профессора увидели перед собой совсем еще молодого человека, который казался даже моложе своих лет, маленького, тщедушного, невзрачной наружности, робкого и с виду совершенно ничтожного. Но зато, когда спустя четыре дня (29 августа 1518 года) этот невзрачный юноша прочел, в присутствии всего университета, свою первую вступительную лекцию, в которой излагал программу гуманистического образования, все были поражены. В короткое время “маленький грек”, как прозвал его Лютер, сделался самым популярным профессором; слава его привлекала в Виттенберг студентов со всех концов Европы, так что иногда в аудитории его набиралось до двух тысяч человек. Его лекции греческого языка, в которых он объяснял Гомера и послания апостола Павла, посещались даже многими профессорами, в том числе и Лютером, отзывавшимся о нем с непритворным восхищением. Со своей стороны, Меланхтон скоро увлекся учением реформатора и много содействовал его распространению. Особенно сблизил их Лейпцигский диспут, на котором присутствовал и Меланхтон. Между ними весьма скоро завязались самые дружеские отношения, не прекращавшиеся до самой смерти Лютера, несмотря на все различие их характеров и темпераментов. И действительно, трудно представить себе людей, более непохожих друг на друга, чем Лютер и его alter ego. Один – весь порыв, непосредственность, смелость и настойчивость, доходящая подчас до слепого упрямства. Другой – мягкий, кроткий, сдержанный и уступчивый. Но это различие характеров, быть может, больше всего и скрепляло их дружбу, так как оба прекрасно дополняли друг друга. Лютер одушевлял Меланхтона, внушал ему больше уверенности и энергии; Меланхтон сдерживал горячность Лютера, сглаживал его шероховатости. Для реформатора он был незаменимым сотрудником. Не будучи сам выдающимся теологом, Меланхтон мог предоставить к услугам своего друга свою обширную эрудицию гуманиста, свой более изящный латинский стиль и – что всего важнее – свой систематизирующий ум, благодаря которому он стал первым систематиком протестантизма. Лютер метко охарактеризовал свою роль и роль своего

главного сподвижника в деле реформы: “Мне самому приходится выдергивать пни и колоды, обрывать шипы, осушать трясины; я – грубый дровосек, прокладывающий дорогу, но мейстер Филипп работает чистенько и тихонько, обрабатывает и насаждает, сеет и орошает, ибо Бог щедро одарил его”.

Меланхтону в значительной степени Лютер обязан был и своим сближением с гуманистами. Пример его подействовал заразительно на других молодых гуманистов, так называемых “поэтов”, которые также стали изучать Новый завет и проявили небывалый интерес к вопросам теологии. Сам Эразм, которому Лютер по совету Меланхтона написал весьма почтительное письмо, отнесся очень сочувственно к идеям, высказанным в тезисах, и при случае давал о них благоприятные отзывы, хотя и не скрывал своих опасений, как бы смута, возбужденная Лютером, не повредила “благородным наукам”. Хотя Эразм со своей стороны так же искренне стремился к очищению церкви, к поднятию религиозно-нравственной жизни, однако забота о гуманистическом образовании всегда стояла у него на первом плане. Враг всякого насилия, он был уверен, что умственное развитие само по себе способно освободить людей от всякого зла и что реформы, которых он желал, совершатся, хотя и медленно, но неизбежно, по мере того, как будет расширяться горизонт человеческого знания.

Но еще важнее было для Лютера сближение с другим знаменитым гуманистом, Ульрихом фон Гуттенем, представителем боевой фракции этого умственного движения, привлечшим на сторону реформатора всю национально-политическую и социальную оппозицию XVI века. В сущности, в последовавшем затем периоде реформационного движения Гуттен играет почти такую же роль, как Лютер. В то время, как последний – представитель религиозной реформы, первый – вождь политической и социальной революции.

Личность Гуттена одна из наиболее интересных в эту эпоху. Происходя из старинного, но обедневшего рыцарского рода, Гуттен уже с юных лет ненавидел монахов. Дело в том, что отец его – вероятно, вследствие какого-нибудь благочестивого обета – отдал его еще мальчиком в Фульдский монастырь, где он должен был учиться и впоследствии принять духовный сан. Но живой любознательный юноша совершенно не разделял планов отца, и в 16 лет, познакомившись с гуманистом Кротом Рубеаном, при его содействии бежал из монастыря. С тех пор для него началась тяжелая скитальческая жизнь. Без всяких средств к жизни, вечно терпя голод, болезни, лишения всякого рода, но поддерживаемый горячей

любовью к знанию, Гуттен обошел в качестве странствующего студента многие земли, побывал почти во всех университетах Германии и Италии, в совершенстве усвоил классические знания и легкую грацию классического стиля. С любовью к науке в нем соединялся пламенный патриотизм, ревниво оберегавший честь и независимость родной нации. В Италии этот патриотизм нашел себе новую пищу. Здесь Гуттен столкнулся лицом к лицу с исконным врагом германской нации – с папством, обратившим Германию в свою дойную корову и употреблявшим выжимаемые из нее денежные соки на борьбу с ее же императором. Здесь же он познакомился с глубоким упадком нравов, царившим в столице духовной державы, под гнетом которой томилось его отечество. С тех пор основным мотивом его политических и публицистических произведений является едкая сатира на нравы духовенства и пылкий призыв к освобождению от Рима. Впрочем, был еще один предмет, весьма близкий сердцу Гуттена, – это интересы его собственного рыцарского сословия, все более и более приходящего в упадок, благодаря возрастающему могуществу князей и городов. К последним он относился особенно враждебно и в процветании их видел лишь торжество торгашеского духа. Вообще Гуттен, при всем благородстве своих стремлений и любви к науке, всегда оставался настоящим средневековым рыцарем и никак не мог примириться с теми новыми порядками, которые были с таким трудом водворены в Германии для обеспечения мира и безопасности. Каждый раз, когда считал себя оскорбленным или замечал какое-нибудь нарушение справедливости, он прибегал к аргументам кулачного права.

Таким образом, еще раньше, чем Лютер выразил свой первый протест против искажения догмы церковью, Гуттен стоял уже во главе партии, которая, наряду с довольно туманными позитивными задачами политического переустройства Германии, преследовала самые недвусмысленные антиримские тенденции. Едкие сатирические памфлеты Гуттена давно уже ходили по рукам и будили ненависть к римской курии. В 1517 году он нанес последний довольно чувствительный удар изданием найденной им рукописи знаменитого, давно уже умершего, итальянского ученого Лаврентия Балла о так называемом “даре Константина”, где раскрывалась подложность эдикта, по которому император будто бы подарил папе Рим, Италию и весь запад. Влиянию Гуттена и его единомышленников следует отчасти приписать и тот неожиданный отпор, который встретили папские притязания на Аугсбургском сейме.

Тем не менее, в своей борьбе с общим врагом Гуттен и Лютер до сих пор шли каждый своей дорогой, совершенно не заботясь друг о друге, даже

не подозревая о своей солидарности. Первым обратил внимание на это обстоятельство известный уже нам друг Гуттена, Крот Рубеан, один из авторов “Писем темных людей”. Со времени Лейпцигского диспута он проникся самым восторженным удивлением к мужественному монаху и в пламенных выражениях стал увещевать своих друзей и единомышленников открыть глаза на движение, вызванное Лютером, и понять, что дело его может иметь великое значение для освобождения умов от той тьмы, с которой они все борются. По его настоянию Гуттен решился, наконец, поближе познакомиться с сочинениями монаха – и не замедлил проникнуться такими же чувствами удивления и восторга. Он понял, наконец, что дело виттенбергского монаха есть чисто народное дело и что только с его помощью римский вопрос может найти разрешение. С тех пор он сам обращается к изучению Св. Писания и начинает цитировать из него тексты; он переходит также к употреблению немецкого языка в своих сочинениях и наконец (письмом от 4 июня 1520 года) вступает в личные сношения с Лютером, предлагая ему союз и поддержку от себя и от имени своего друга Франца фон Зиккингена, которого он тоже склонил на сторону нового учения.

Необходимо заметить, что на последнего партия Гуттена возлагала большие надежды. В лице Франца фон Зиккингена, пользовавшегося огромным влиянием среди своего сословия, национально-гуманистическая оппозиция заручилась содействием всего рыцарства. Зиккинген, как и Гуттен, глубоко скорбел об упадке своего сословия и рассчитывал, что император, наконец, поймет всю выгоду союза с рыцарями и с их помощью не замедлит сбросить с себя иго Рима и смирить слишком зазнавшихся светских и духовных князей. Теперь, узнав от Гуттена об опасности, грозящей Лютеру со стороны Рима, он предложил ему убежище в своих укрепленных замках на случай, если ему придется оставить Виттенберг. Точно такое же приглашение получил Лютер от другого рыцаря, Сильвестра фон Шауенбурга. Последний также просил его не удаляться на чужбину, предлагая услуги свои и ста храбрых рыцарей, заключивших между собою союз с целью оберегать его от всяких опасностей, пока дело его не будет решено окончательно.

Эти письма особенно подняли дух Лютера. Теперь ему нечего было бояться отлучения, незачем было отправляться в изгнание: целое сословие, обладавшее материальной силой, готово было принять его под свое покровительство. Но сношения с Гуттеном повлияли на Лютера еще в одном отношении. Благодаря им он обратил наконец серьезное внимание на политическое настроение Германии. Впечатления, вынесенные им из

Аугсбурга и еще раньше из путешествия в Рим, ожили с удвоенной силой и придали новую окраску его произведениям. Теперь вместе с Гуттенем он также заговорил в патриотическом тоне и обратил свои надежды на светскую власть, которую и стал призывать к реформе. Еще 15 января 1520 года Лютер в письме к новоизбранному императору объявлял, что хочет умереть верным и послушным сыном церкви и готов подчиниться решению всех незаинтересованных университетов. Но в феврале, получив приглашение Шауенбурга и пересылая его Спалатину, он уже пишет:

“Для меня жребий брошен. Я презираю ярость римлян, как и их благосклонность. Я не хочу во веки веков примириться с ними, ни иметь с ними что-нибудь общее. Пусть осуждают и сжигают мои книги; в возмездие за это я осуждаю и публично сожгу все папское право, эту Лернейскую гидру ереси”. А в другом месте: “Сильвестр Шауенбург и Зиккинген избавили меня от страха перед людьми. Теперь я ничего не боюсь и издаю уже книгу на немецком языке против папы, об улучшении христианского общества...”

Эта книга, появившаяся в начале августа 1520 года, была знаменитое послание, адресованное “Его императорскому величеству и христианскому дворянству немецкой нации”, настоящий военный манифест Лютерогуттеневской революционной партии.

“Пора молчания прошла; теперь настало время говорить!” – восклицает Лютер, посвящая новое произведение своему коллеге Амсдорфу. И действительно, более энергичного, более вдохновенного языка нельзя себе и представить. “Послание к дворянству” – это целая программа преобразований не только церкви, но и государства. Цель его – освободить Германию от постыдного ига, возбудить в ней стремление к самостоятельной жизни, доказать, что ее зависимость от Италии не есть следствие исторической необходимости, а добровольно наложенное на себя иго.

“Романисты, – говорит Лютер в введении к главной части “Послания”, – чтобы помешать реформе церкви, окружили себя тройными стенами: когда реформы требуют светские государи, они отвечают, что светская власть не имеет права вмешиваться в церковные дела и что власть духовная стоит выше ее; если ее требуют на основании Св. Писания, они возражают, что право толковать Писание принадлежит одному только папе; если же наконец им угрожают собором, то они отвечают, что только папа имеет право созывать соборы и руководить ими”.

Но эти “картонные и соломенные” стены не останавливают Лютера – одна за другой они должны обрушиться под напором выставленного им

принципа всеобщего священства христиан.

По мнению Лютера, все члены церкви, духовные и миряне, имеют одинаковые права как христиане; все приобретают в крещении духовное звание, и так называемое духовенство отличается от мирян только тем, что оно избрано “ведать в общине слово Божие и таинства”. Таким образом, все различие между теми и другими заключается только в должности, и если священник почему-либо отставлен от своей должности, то становится таким же крестьянином или бюргером, как и другие. А из этого следует, что духовенство не должно иметь никаких особых преимуществ, ни особенной святости, ни собственной юрисдикции, ни неподсудности светской власти; последняя должна быть свободна в своей сфере, и никакой папа или епископ не имеют права мешать ей.

Тем же положением о всеобщем священстве христиан разрушается вторая стена. Так как папа в духовных делах не стоит выше, чем всякий другой истинный христианин, то и последний может понимать Св. Писание не хуже его, и, наоборот, папа, если он дурной христианин, не поймет смысла Писания. А затем третья стена падает уже сама собой. В тех случаях, когда папа поступает против Св. Писания, община должна сама вмешаться в дело, а община или христианство должны быть представлены в соборе. Последний, как это было с Никейским собором и другими, должен быть созван императором, а в случае необходимости всяким, кто только имеет соответствующую власть. Относительно вопроса, как должен быть составлен собор, Лютер не вдается в подробности, но зато в 26 параграфах перечисляет пункты, которые подлежат его обсуждению и требуют реформы. Так, он особенно энергично восстает против светской политики и роскоши пап, величающих себя наместниками Христа, хотя Господь странствовал по земле в бедности и говорил, что царство Его не от мира сего. При этом он рисует всю сложную сеть злоупотреблений и вымогательств, при помощи которых папы в состоянии удовлетворять свои прихоти. Он восстает против аннатов, палий, против присяги епископов, благодаря которой они становятся в рабскую зависимость от Рима, симонии и других злоупотреблений. Для искоренения их Лютер советует даже не дожидаться собора. Всякий светский владетель должен сам отменить их в своих владениях. Вообще, Лютер, как и Гуттен, хочет, чтобы отдельные церкви, в особенности немецкая, самостоятельно управляли своими делами. Немецкие епископы должны подчиняться избранному из их среды примасу, при котором находится общая консистория, куда поступают апелляции из всех немецких земель. Папе Лютер готов уступить лишь высшее место в общей христианской церкви; его суду подлежат важные

вопросы, относительно которых примасы не могли прийти к соглашению.

Переходя к реформе церковно-нравственных порядков, Лютер прежде всего требует уничтожения безбрачия духовенства. Монашество должно быть по крайней мере ограничено. Лютер хотел бы, чтобы аббатства и монастыри были превращены в христианские школы и чтобы монахам было предоставлено право выходить из монастырей. В связи с этим он требует отмены обязательности постов, противоречащей христианской свободе, отмены многочисленных праздников, способствующих праздности, пьянству, игре, запрещения пилигримств, благодаря которым богомольцы проживают в чужих краях последние деньги, оставляя дома голодающую семью. Особенности заботы он посвящает бедным: нищенство должно быть запрещено, каждый город обязан заботиться о своих бедных и не допускать чужих. Лютер требует также реформы университетов, до сих пор, подобно низшим школам, находившихся в подчинении у церкви, причем восстает против возрастающего влияния римского права. Он желает, чтобы были учреждены школы не только для мальчиков, но и для девочек. Наконец он затрагивает и вопрос о гуситах, советуя изменить прежнее враждебное отношение к ним. Относительно Гуса он замечает, что если бы даже он был еретиком, то и еретиков следует побеждать Писанием, а не огнем, иначе палачи были бы самыми учеными теологами в мире.

Недостаток места не позволяет нам подробнее остановиться на этом замечательном произведении, в котором реформатор с ловкостью настоящего дипломата сумел разбросать приманки для всех сословий. В сущности программа Лютера мало отличается от предложений чинов на Аугсбургском и других сеймах. Но новое обоснование старых требований, искренний и вдохновенный тон автора придавали его произведению особенную значительность. Голос одного человека всегда слышнее в толпе. Поэтому нетрудно представить себе тот исступленный восторг, который вызвало “Послание к дворянству” во всех слоях общества. Все сословия находили в предлагаемом здесь плане преобразований свои выгоды. Высшему духовенству этот план развязывал руки, освобождая его от тягостной опеки римской курии, владетельным князьям и могучим дворянам возвращал права покровительства над духовными ленами, обедневшим дворянам средней руки давал право на богатые духовные имения, пожертвованные некогда их предками в пользу монастырей, а с низшего сословия слагал разом невыносимое бремя поборов в пользу папской казны. Лютер сразу сделался народным героем, немецким пророком. Даже те, которые раньше пугливо отворачивались от него как от еретика, теперь были увлечены, покорены его патриотическим тоном.

Если “Обращение к дворянству” заключало в себе программу церковной и общественной реформы, то в вышедшем вслед за тем латинском сочинении “О вавилонском пленении церкви” Лютер подвергает радикальной реформе догматическую сторону католицизма. Лютер сокращает число таинств и указывает их истинное значение. Он признает только три таинства – крещение, причащение и покаяние (впоследствии он сохранил только первые два). Относительно причастия он требует, чтобы оно совершалось под обоими видами, и отвергает католическое учение о транссубстанции, настаивая на буквальном смысле слова: сие есть тело мое и так далее. Брак он считает гражданским установлением, а требования чувственности признает вполне законными, причем с почти античной непринужденностью допускает даже в некоторых случаях возможность бигамии. Впрочем, эти вольности, вызвавшие большие нарекания, были вычеркнуты из позднейших изданий.

Эти два сочинения завершают разрыв Лютера с римской церковью. Хотя в глазах многих современников и отчасти в его собственных разрыв с папством все еще был яснее, чем разрыв с самой церковью, но люди более проникательные не могли не заметить теперь, что Лютер восстает уже не против одних только искажений догмы и злоупотреблений курии, но против самих основ и сущности римского католицизма. В то же время изменился и сам характер борьбы с Римом. Если вначале реформатор только желает указать душам истинный путь к спасению и сражаться за свое учение лишь с помощью слова, то теперь он ждет уничтожения антихристианских установлений уже не от самой церкви, а призывает к этому светскую власть с ее внешними средствами. В этой стадии своего развития Лютер является не только реформатором, но и революционером, хотя, конечно, слово “революционер” не следует понимать в современном смысле этого слова. Революция, которую проповедовал он, должна была начаться не снизу, а сверху, так как он хотел, чтоб реформу церкви взяло в свои руки само правительство.

А что же делал в это время Рим? Почему церковь, до сих пор не стеснявшаяся с еретиками, медлила обратиться к своему последнему и неотразимому аргументу – к церковному отлучению и проклятию? Объясняется это очень просто. Дело в том, что внезапная смерть Максимилиана, последовавшая в 1519 году, и обусловленное ею междуцарствие доставили курфюрсту Фридриху первенствующее значение в Германии, а этот государь так открыто выказывал свои симпатии к еретику-монаху, что римским политикам волей-неволей приходилось сдерживаться. Однако после Лейпцигского диспута Лютер так быстро и

решительно порывал одну за другой все нити, связывавшие его с Римом, что дальнейшая снисходительность становилась уже опасной. Доктор Экк сам поехал в Рим, чтобы выхлопотать буллу против своего противника, и сам же имел бестактность привезти ее в Германию. Но оказалось, что Рим перехитрил: благоприятное время было упущено, булла явилась слишком поздно.

Книга “О вавилонском пленении церкви” вышла в свет в начале октября, но Лютер уже раньше знал, что Экк приехал с буллой против него: 21 сентября она была уже открыто вывешена в Мейсене. Папа, осудив учение Лютера как еретическое, давал ему 60 дней срока, чтобы одуматься и отречься от этого учения. В то же время Мильтиц – видимо, уже на свой страх – не переставал хлопотать о мирном соглашении. Он уверял Лютера, что если он напишет папе, что ничего не имеет против его личности, то последний возьмет буллу назад. Чтобы исполнить желание друзей, Лютер согласился на этот шаг, хотя и не придавал ему никакого значения. Открытое письмо к Льву X было помечено числом, предшествующим обнародованию буллы, как будто он и не знал о ее существовании, но по своему содержанию и тону не имело уже ничего общего со смирением. Оно является скорее прощальным посланием, чем попыткой к примирению. Правда, Лютер уверяет, что никогда не говорил против личного характера и нравов Льва X, что было действительно верно; но в то же время он высказывает ему прямо в лицо самые резкие упреки по поводу образа действий папского престола. Он сам, папа, – говорит Лютер, – должен признаться, что этот престол хуже и гнуснее Содомы и Гоморры. Лютер уверяет, что желает папе всего лучшего, но именно поэтому советует ему отказаться от своей власти и удовольствоваться маленьким приходом или жить доходами со своего отцовского наследия.

К этому письму Лютер присоединил небольшую, только что вышедшую из-под его пера книжку под заглавием: “О свободе христианина”. Это не полемическое сочинение, а небольшой богословский трактат, предназначенный для массы. Для последней Лютер излагает здесь всю “сумму христианской жизни”. Он выставляет два внешне противоречащих друг другу положения: 1) христианин есть свободный властелин над всем и никому не подчинен, и 2) христианин всем слуга и всякому подчинен. Дело в том, что христианин вмещает в себе двоякое естество – духовное и телесное. Верой в Христа, а не добрыми делами, этот внутренний духовный человек достигает спасения, и оправданный таким образом христианин не нуждается уже ни в каких внешних актах, ничто не может ему повредить и он сам становится господином всего. Но

христианин не только “духовный и внутренний” человек, но и телесный и наружный, поэтому он должен смирать свою плоть и творить добрые дела; и как Христос, живя среди людей, уничижал себя и служил людям, так и он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтоб угодить Богу, ибо спасение дается только верой, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.

К замечательному прощальному посланию к папе эта книжка была не менее замечательным приложением. Ею реформатор хотел показать папе, какого рода работами он охотнее всего бы занимался, если бы “безбожные льстецы папские” ему не мешали. И действительно, после прежних страстных полемических и обличительных трудов эта книжка особенно поражает своей спокойной задушевностью. Вместе с “Посланием к дворянству” и “Вавилонским пленением церкви” она является одним из главных реформационных произведений Лютера.

Что касается буллы, то Лютер вначале делал вид, что считает ее подложной; но скоро написал против нее сочинение “Против буллы антихриста” и возобновил свою апелляцию к свободному христианскому собору, в котором, по его мнению, должны были заседать не только духовные, но и миряне.

Рядом с ним Гуттен бурно призывал нацию к всеобщему восстанию против римской тирании. Из Эбернбурга, замка Зиккингена, где Гуттен устроил свою собственную типографию, он высылал одно за другим горячие воззвания к императору, князьям, духовенству, ко всем “свободным чадам немецкой земли”. Здесь вышла знаменитая “Булла ревущего Льва” с язвительными примечаниями Гуттена и предисловием к возлюбленным немцам. “Меч папский, – говорилось тут, – повис над головой не одного Лютера, а всего народа; его дело есть дело всей Германии”.

Результаты этой агитации сказались в том приеме, который был оказан булле. Только немногие правительства согласились опубликовать ее, при явном неудовольствии народа. Курфюрст Фридрих наотрез отказался исполнить волю папы, пока не будет доказана виновность Лютера беспристрастными судьями. Ввиду такого настроения народа Лютер решился на неслыханный шаг: 10 декабря 1520 года торжественное шествие из студентов и профессоров, приглашенных реформатором, направилось к Эльстерским воротам Виттенберга, и здесь папская булла, предшественницы которой не раз свергали с престола гордых королей и присуждали к пламени смелых новаторов, была истреблена огнем при восторженных кликах собравшейся толпы. Этим актом разрыв с Римом был оповещен всему миру.

Итак, средство, столько раз успешно практиковавшееся церковью, оказалось недействительным. Проклятие церкви не лишило еретика народных симпатий, и смелость его только возрастала по мере того, как Рим обнаруживал свое бессилие. Оставалось одно – обратиться за помощью к высшей власти в империи.

Но на нее же возлагала свои надежды и партия Лютера. Положение вещей было таково, что Лютер мог писать в ответ на призыв Гуттена к насильственным действиям: “Я не хотел бы, чтобы боролись за Евангелие насилием и убийством. Словом побежден был мир, словом была создана церковь, словом она опять будет восстановлена”.

И в самом деле, если внимательно присмотреться к тем факторам, которые участвовали в движении против церкви, то надежда реформатора на то, что реформа совершится только силою слова, без кровавой борьбы и насильственных переворотов, покажется нам вполне основательной. Ведь с тех пор, как появились знаменитые тезисы, движение успело принять такие размеры, каких никто и не ожидал вначале. Самый могущественный и влиятельный из немецких князей явно сочувствовал делу Лютера и не обращал внимания на папские протесты. Дворянство и городское сословие, среди которых проповедь реформатора имела особенный успех, были хорошо представлены на сеймах. Из духовных князей архиепископ Магдебургский и Майнцский, который более всего должен был считать себя задетым проповедью Лютера против индульгенций, сохранял двусмысленно-выжидательное положение и, видимо, не прочь был занять место примаса в национальной германской церкви. Старые жалобы сеймов на церковные злоупотребления раздавались теперь особенно громко и настойчиво. Таким образом, сейм мог взять в свои руки церковную реформу, а епископат сделал бы со своей стороны необходимые изменения в богослужении.

Очевидно, все зависело от того, как отнесется к религиозному движению в Германии новый император Карл. Никто еще не знал его образа мыслей и характера. Тем не менее, приверженцы реформы возлагали на него большие надежды, так как он, очевидно, питал большое доверие к Фридриху Мудрому, главным образом содействовавшему его избранию, и выражал желание руководствоваться его советами. Кроме того – и это самое важное – собственные политические интересы должны были побудить императора принять сторону Лютера против папы. Вспомним, что Рим в течение последних десятков лет стал государством более чем когда-либо светским и в силу собственных политических интересов всегда держал сторону Франции. Новое движение против курии могло оказать

императору большие услуги, и это понимали многие при Мадридском дворе: 12 мая Мануэль, поверенный Карла V, писал ему: “Ваше Величество должны поехать в Германию и там оказать некоторую благосклонность некоему Мартину Лютеру, который находится при саксонском дворе и предметом своей проповеди внушает опасение римскому двору”.

Но надежды приверженцев реформы, несмотря на всю их основательность, не оправдались. Проповедью Лютера император действительно воспользовался, но совершенно в другом смысле, чем они ожидали.

Начать с того, что Карл, несмотря на свое немецкое происхождение, не имел в себе ничего немецкого – он даже плохо говорил на этом языке – и вся национальная сторона движения не находила в его душе никакого отклика. К тому же он был воспитан в строго католическом духе. Империю он понимал в чисто средневековом смысле, в тесной связи с единством церкви, которую считал своим долгом поддерживать при каких бы то ни было обстоятельствах, все равно, какова бы ни была церковь сама по себе. Папство и императорская власть, говорил Карл, установлены Богом, как две высшие власти, долженствующие идти рука об руку. Таким образом, с его стороны не могло быть и речи о разрыве с Римом. Проповедь Лютера сослужила ему, однако, свою службу. Обещанием уничтожить ересь в Германии он добился от папы обещания помощи в предстоявшей войне с Францией. В сущности, Карл принял решение по делу Лютера еще раньше, чем состоялся сейм, на котором он должен был обсуждать с имперскими чинами важнейшие дела Германии. И только благодаря заступничеству Фридриха и давлению общественного мнения Карл согласился пригласить Лютера в Вормс, и то лишь для того, чтобы предложить ему отречься от своего учения.

Лютер с радостью принял это приглашение. От горел желанием засвидетельствовать пред лицом всей Германии истину своего учения. Ни предостережения друзей, опасавшихся за его жизнь, ни угрозы врагов не могли поколебать его решимости. Когда на последней остановке пред Вормсом Спалатин советовал ему вернуться назад, напоминая об участии Гуса, Лютер отвечал: “Гус был сожжен, но истина не погибла с ним. Я пойду вперед, хотя бы в меня целилось столько дьяволов, сколько черепиц на крышах”.

На самом деле, путешествие отлученного от церкви еретика походило на настоящее триумфальное шествие. Впереди Лютера ехал посланный за ним императорский герольд; по пути к нему присоединялись многие друзья. Во всех городах, через которые он проезжал, народ толпами

выбегал ему навстречу, горя желанием увидеть человека, осмелившегося бросить перчатку римскому колоссу. Особенно блестящий прием был оказан Лютеру в Эрфурте. Весь состав университета вышел ему навстречу за две мили от города; его приветствовали речами и стихотворениями. В самом Вормсе, куда он прибыл 10 апреля, народ встречал его с бурным энтузиазмом.

Уже на другой день Лютер был приглашен в собрание сейма, и тут только он узнал окончательно, что ему не дадут возможности публично защищать свое учение. Это обстоятельство в связи с подавляющим впечатлением, которое должно было произвести на непривычного к свету монаха это блестящее собрание высших сановников империи, на короткое время как будто поколебало его мужество. Он был смущен, говорил тихо, едва внятно. Лютеру предложили только два вопроса: признает ли он все поименованные тут же сочинения своими и хочет ли отречься от них? На первый вопрос он ответил утвердительно, а относительно второго, ввиду его важности, попросил дать время для размышления. Император согласился ждать до следующего дня.

Но когда на следующий вечер он снова явился в собрание, в тоне его уже не было заметно ни малейшего смущения и колебания. На этот раз вчерашний вопрос был предложен ему в более мягкой форме: хочет ли он защищать все свои сочинения или готов отказаться от некоторых пунктов своего учения? На это Лютер отвечал решительно и ясно: в некоторых из своих книг он излагает такие евангельские истины, которые признаются и его врагами; от них он, конечно, отказаться не может. В других он нападает на превратное учение и законы папства, относительно которых никто не станет отрицать, что они насилуют совесть христиан и поглощают все богатство германской нации: если он отречется от этих книг, то станет сам пособником тирании и алчности. В третьих, наконец, он нападает на отдельных лиц, защищающих эту тиранию: он сознается, что в своей полемике с ними бывал часто более резок, чем подобало, но и от этих сочинений отречься не может, так как это значило бы предоставить торжество противной стороне. Он готов отказаться от своего учения лишь в том случае, если ему докажут его ошибочность на основании Св. Писания. Мало-помалу речь Лютера разрослась в настоящий обвинительный акт против папства. Он закончил просьбой, обращенной к императору и нации, не осуждать божественного слова, чтобы не навлечь на себя много бед и не омрачить нового правления таким зловещим началом.

После небольшого перерыва, во время которого происходили совещания о том, следует ли дать Лютеру возможность защищать свое

учение, официал Трирского архиепископа сделал ему от имени императора строгое замечание насчет неприличия его речи и потребовал ясного категорического ответа на предложенный раньше вопрос. Вступать с ним в состязания и доказывать ошибочность его мнений нет никакой надобности, так как он давно уже осужден Констанцским собором. Если же он откажется от своей ереси, то насчет других пунктов с ним можно будет потолковать.

На это Лютер отвечал: “От меня хотят прямого, ясного и категорического ответа. Хорошо, я отвечу вам прямо, без всяких изворотов. Я не могу подчинить своей вере ни папе, ни соборам, ибо ясно как день, что они часто впадали в заблуждения и даже противоречия с самими собою. Поэтому, если меня не убедят свидетельствами из Св. Писания или очевидными доводами разума, если меня не убедят теми самыми текстами, которые я привел, и если таким образом мою совесть не свяжут словом Божиим, то я не могу и не хочу отказываться ни от чего, ибо не подобает христианину поступать против совести. Я весь тут перед вами. Я не могу иначе. Бог да поможет мне. Аминь”.

Речь Лютера, которую он произнес на латинском языке, а потом повторил по-немецки, произвела на присутствующих совершенно различное впечатление. Испанцы не могли понять, как мог такой незначительный человек, обнаруживший в своей речи так мало учености, произвести в Германии столь сильный соблазн, а Карл, как передают, заметил даже вслух: “Меня-то, по крайней мере, этот монах не сделает еретиком”. Но немецкие князья, Фридрих Мудрый, Эрих Брауншвейгский и Филипп Гессенский, не таясь, гордились своим мужественным соотечественником.

Дело, однако, на этом не кончилось. Большинство имперских чинов, желавших церковной реформы, не могло мириться с безусловным осуждением человека, который являлся таким красноречивым и мощным выразителем всеобщих стремлений, и готово было взять его под свое покровительство с одним лишь условием, – чтобы он отказался от тех положений, которые, противоречили постановлениям Констанцкого собора и, таким образом, неминуемо вели к расколу в церкви. С этой целью назначена была даже комиссия из высших светских и духовных лиц, под председательством одного из курфюрстов, архиепископа Трирского, с целью склонить Лютера к уступкам. Но и эта попытка осталась без результатов. Лютер был прежде всего религиозным реформатором, и, как ни близка была его сердцу национальная оппозиция папству, никакая перспектива внешних церковных реформ не могла побудить его к уступкам

в том, что касалось вечного спасения людей. Видя, что срок, предоставленный ему охранной грамотой, истекает, он попросил позволения вернуться в Виттенберг.

Вскоре после этого разъехались и князья, расположенные к реформатору, и тогда только 25 мая император решился представить оставшимся чинам декрет об опале Лютера, написанный папским нунцием и помеченный задним числом (8 мая) – с очевидной целью убедить народ, будто постановление это составлено по единодушному приговору курфюрстов и чинов.

Благодаря Вормскому эдикту папская булла получала, наконец, силу и значение. Лютер, как осужденный церковью еретик, подвергался опале вместе со своими последователями, друзьями и покровителями. Всякий верный подданный императора и добрый католик обязан был схватить его и передать в руки властей; сочинения же его обрекались сожжению.

Но Фридрих Мудрый, уезжая из Вормса, решил уже не покидать Лютера на произвол врагов. По условленному заранее плану последний на обратном пути из Вормса подвергся в одном лесу нападению неизвестных вооруженных людей и, разлученный со своими спутниками, не посвященными в тайну, был отвезен в уединенный замок Вартбург.

Биографы-протестанты не могут найти достаточно восторженных выражений, чтобы прославлять мужество Лютера, отправившегося на Вормский сейм, несмотря на угрожавшую ему опасность. Вряд ли, однако, последняя была так велика, как ее представляют. Не говоря уже об охранной грамоте императора (всеобщее осуждение, вызванное вероломством Сигизмунда по отношению к Гусу, служило гарантией, что подобный поступок не повторится еще раз), Лютер не мог не знать, что найдет в Вормсе могущественных заступников. Уже одни упорные старания папских легатов отговорить императора от приглашения на сейм опасного монаха должны были убедить последнего, что его не только не хотели завлечь в западню, но даже боятся его появления. И действительно, малейшая попытка посягнуть на свободу народного героя могла привести тогда к серьезным беспорядкам. Дворяне, собравшиеся в Вормсе, все время составляли при нем добровольную стражу. К нему на квартиру приходили рыцари и князья и громко выражали свое сочувствие. Когда стало известно в народе, что Лютер на сейме соглашался отречься, если ему докажут его заблуждение, но никто не хотел опровергать его – что было принято за доказательство бессилия, – общее волнение достигло крайних пределов. Папские легаты боялись показываться в народе. Ночью к воротам ратуши было прибито объявление о заговоре 400 рыцарей против архиепископа

Майнцкого и о готовящемся восстании крестьян.

Тем не менее, хотя Лютер, отправляясь в Вормс, и не шел на явную мученическую смерть, момент этот по справедливости считается самым блестящим в жизни реформатора. И действительно, трудно представить себе зрелище более величавое и захватывающее, чем то, какое представляла зала заседаний Вормского сейма в достопамятный день 18 апреля 1521 года: с одной стороны, эта блестящая толпа светских и духовных государей с императором Карлом во главе, встревоженная голосом ничтожного монаха и желающая заглушить его во что бы то ни стало, с другой – этот самый ничтожный монах, одинокий во всей толпе, но сильный своей верой, громко и бесстрашно объявляющий всем, что в жизни человеческой есть сторона, в которую не может вмешиваться никакая посторонняя сила. Лютер в Вормсе – не основатель новой церкви; он еще не замкнул своего учения в известные неподвижные рамки, не воздвиг на месте поверженного кумира – церковной традиции – нового кумира в виде буквы Писания, отступление от которой грозит вечным осуждением слишком пытливым умам. Лютер в то время – лишь представитель самого чистого индивидуализма, и его речь, обращенная к представителям нации, является не только смелым вызовом Риму, как принято говорить, но торжественным провозглашением неведомого до сих пор принципа свободы совести, свободы мысли.



*Мартин Лютер, 38 лет, в одежде августинского монаха. По гравюре Л. Кранаха, 1521 г.*

## Глава V. Лютер и социальная революция

Итак, последнее решительное слово в деле Лютера было сказано. Папа и император одинаково осудили его. От этого признанного еретика, объявленного вне закона, всякий благомыслящий немец, конечно, не замедлит отвернуться с отвращением. К тому же виновник недавней смуты исчез, и никто не знал, что с ним случилось. Одни говорили, что он захвачен врагами и убит, другие – что он бежал в Богемию; во всяком случае, Лютер, видимо, навсегда сошел со сцены, а с помощью Вормского эдикта нетрудно будет справиться и с его помощниками и принудить их к молчанию.

Так ликовали приверженцы Рима. В таком убеждении оставил император Германию, отправляясь преследовать свои сложные политические планы.

Но расчеты хитроумных политиков не оправдались. Дело Лютера давно уже перестало быть его личным делом: оно сделалось достоянием всего народа, который в отсутствие первоначального вождя выдвинул из своей среды новых деятелей, новых вождей. Эти люди продолжают борьбу с Римом и притом ведут ее часто совсем иными средствами и в ином направлении, чем допускал сам реформатор.

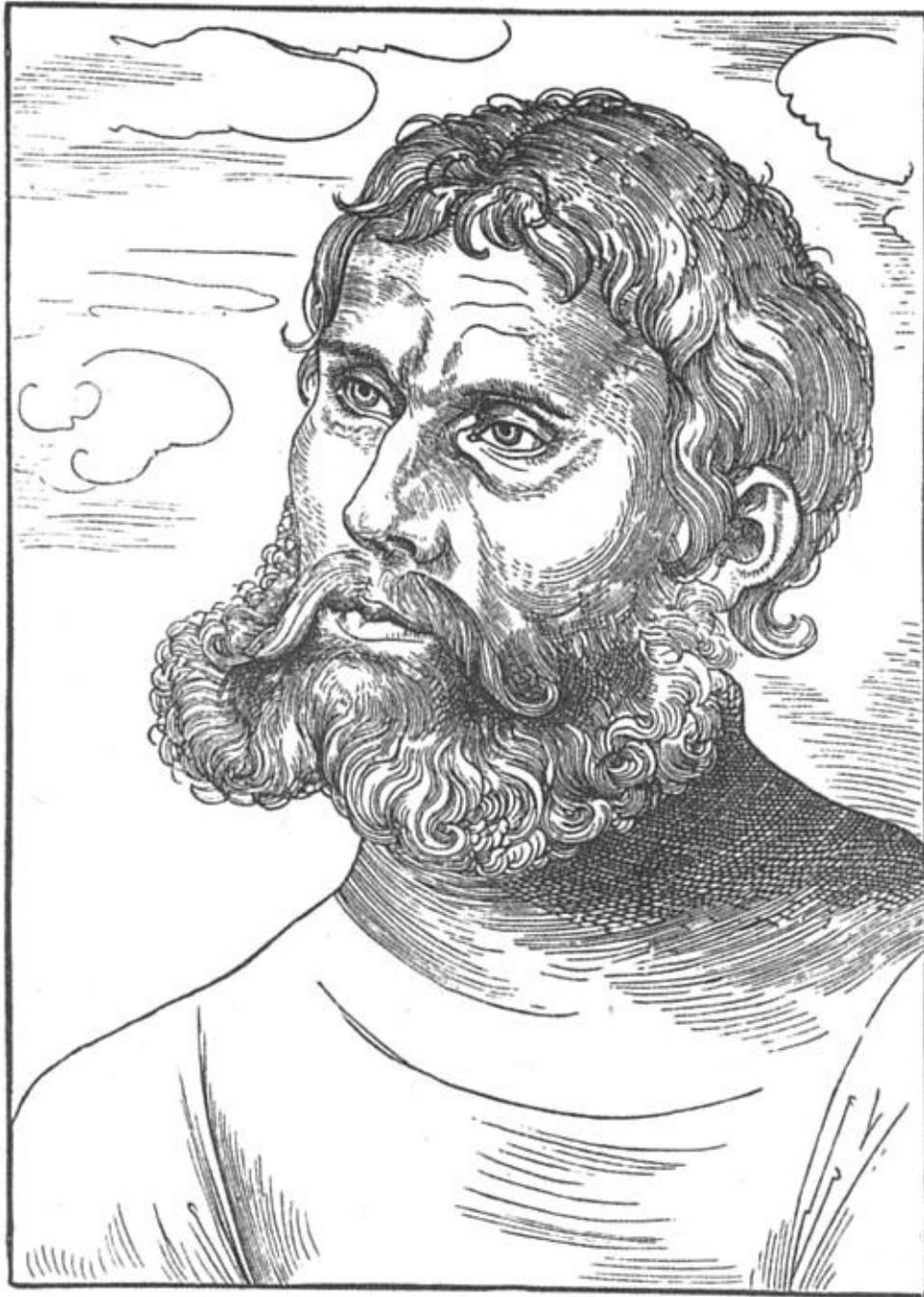
В биографии Лютера время, проведенное им в Вартбурге, является некоторым образом романтическим эпизодом. Прямо с театра борьбы, из водоворота страстей и интриг он был вдруг, точно волшебством, перенесен в тихое уединение Тюрингенского замка, куда, казалось, совсем не доходили вести из внешнего мира. За исключением Спалатина и немногих советников курфюрста, никто не знал о его местопребывании – даже Меланхтон. Что же касается самого курфюрста, то он и не хотел знать, где именно содержится реформатор, чтобы не быть вынужденным лгать в случае расспросов.

Целых полтора года провел Лютер в вартбургском уединении. Чтобы лучше сохранить тайну, он сбросил монашеское одеяние, отпустил бороду и волосы на голове и одевался рыцарем. В замке его называли “юнкером Георгом” и считали пленником; к нему был приставлен паж для услуг и вообще обращались с ним самым предупредительным образом. Раза два или три он принимал даже участие в охоте; но мысли его были далеки от этой рыцарской забавы. Можно было ожидать, что невольный отдых после тяжелых трудов, тревог и волнений последнего времени будет отчасти

приятен человеку, так неохотно расстававшимся с монастырской кельей и против воли вовлеченному в борьбу. Но этого не было. Лютер не мог теперь жить без борьбы. Он называет Вартбург “своим Патмосом, своей пустыней” и горько жалуется на вынужденное бездействие в то время, как друзья его подвергаются больше прежнего опасностям борьбы. Даже на физическом состоянии Лютера перемена в образе жизни отразилась вначале весьма неблагоприятно. Обильный стол в замке после скудного монастырского питания оказался вредным для здоровья реформатора, а под влиянием физического расстройства и угнетенного душевного состояния он стал подвергаться галлюцинациям, вроде видений дьявола, смущавшего его религиозными сомнениями и греховными искушениями. Известно предание о чернильнице, брошенной Лютером в дьявола во время одного из таких искушений. И поныне еще любознательным путешественникам показывают на стене одной из вартбургских комнат чернильное пятно, оставленное будто бы употребленной таким оригинальным образом чернильницей. Впрочем, подобное же пятно и с такими же пояснениями показывают и в Кобургском замке, и так как в сочинениях самого Лютера нигде не упоминается об этом случае, то его, видимо, следует отнести к области позднейших преданий. От самого реформатора мы узнаем лишь о том, как дьявол показывался ему в образе свиньи или блуждающих огней, как он грыз приготовленные для Лютера орехи и бросал скорлупу в постель его или с шумом и треском скатывал ведра вниз по ступеням лестницы. По-видимому, злой дух, тревоживший Лютера, не любил показываться в особенно зловещем или наводящем ужас образе; гораздо страшнее были те черные мысли и сомнения, которые он нашептывал ему под покровом уединения.

Впрочем, против всех искушений и сомнений, по временам закрадывавшихся в его душу и приписываемых им козням демонических сил, Лютер имел превосходное, всегда действительное средство – труд. Лишенный возможности лично участвовать в борьбе, он хочет по крайней мере пером работать на пользу близкого его сердцу дела. Он снова принимается за труды, прерванные поездкой в Вормс, и скоро весь свет узнает, что Лютер жив и, вопреки всем буллам и эдиктам, не думает отказываться от своих реформаторских планов. Одно за другим появляются его новые сочинения – тут и трактат об исповеди, и толкования к псалмам, и собрание проповедей, и полемические брошюры.

IMAGO MARTINI LUTHERI EO HABITU EXPRESSA, QVO REVERSUS  
EST EX PATHMO VVITEMBERGAM. ANNO DOMINI 1522.



*“Изображение Мартина Лютера в том виде, в каком он возвратился из Патмоса в Виттенберг, в год от Р. Х. 1522”. С гравюры Л. Кранаха*

Здесь же, в Вартбурге, “юнкер Георг” принялся за труд, который

должен был сделаться самым значительным из всех его трудов: он начал переводить Библию для немецкого народа. Мысль перевести Библию на народный язык сама по себе вовсе не была новой, особенно в Германии. Можно указать довольно много немецких переводов Библии и до этого времени, но все они забыты, а перевод Лютера при всех своих недостатках остается до сих пор единственным, не превзойденным, не имеющим соперников. Это объясняется совершенством языка, с неподражаемым мастерством передающего дух подлинника, что при тогдашнем состоянии немецкого языка, который у гуманистов был в полном пренебрежении, являлось более чем трудным делом. А какие, кроме того, трудности должны были представлять для перевода языки греческий и еврейский в то время, когда еще не было самых необходимых предварительных работ ни по тому, ни по другому! Сравнительно легок был для Лютера Новый завет, который он кончил переводить в 1523 году; перевод же Ветхого завета был закончен только 10 лет спустя. В этом деле реформатор в значительной степени пользовался помощью и советами своих сотрудников и профессоров университета, которые, по словам одного биографа, “как некий синедрион, каждую неделю собирались на несколько часов пред ужином в монастыре доктора”. Из этого кружка Лютер писал однажды: “Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже! Какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев!” Но этот громадный труд удался Лютеру почти в совершенстве, и даже те, которые относятся к нему враждебно как к реформатору, должны признать его заслуги в выработке литературного немецкого языка, благодаря которому в Германии после утраты ею политического и церковного единства сохранилось по крайней мере единство языка.

Но, помимо литературного значения, перевод Лютера имел громадное значение для самой религиозной реформации. Этим переводом впервые в руки народа было передано чистое учение Библии, без всяких комментариев от лица церкви. Теперь уже духовные не могли более составлять новые догматы, а мирянам не приходилось принимать их на веру. Библия, единственный источник религиозных верований, проникала благодаря Лютеру во все слои общества, делалась в каждом доме настольной книгой. Она послужила великим залогом нравственного совершенствования народа, и в этом отношении труд Лютера не остался без благих последствий и для католиков.

Но в то время, как реформатор вдали от света предавался этим мирным

созидающим трудам, народное движение, предоставленное самому себе, принимало все более разрушительный характер, предвещавший близость социального переворота.

Да иначе и быть не могло. Старое церковное здание было расшатано вконец, новое еще не было создано. Все было поколеблено, но никто не давал себе ясного отчета в том, чем следует заменить или подкрепить расшатанные основы средневековой жизни. Брожение в народе росло с каждым днем. Странствующие проповедники, в числе которых было много беглых монахов, возбуждали народные страсти ярким изображением злоупотреблений и происков Рима. Множество памфлетов, песен и стихотворений – целая революционная литература на народном языке, осмеивавшая духовенство, учение церкви, приглашала народ разом покончить со всеми его кровопийцами. Тон для этой народной литературы был дан самим Лютером, страстность которого в обличениях Рима все возрастала. Правда, он не хотел, чтоб народ сам взялся за оружие; его пламенные воззвания к освобождению народа из-под ига иноземцев обращены были к лицам, облеченным властью. Но последователи его смотрели на дело иначе. В самом Виттенберге образовалась партия реформаторов, шедших гораздо далее Лютера; они находили его образ действий слишком осторожным и умеренным и желали одним ударом покончить со всем наследием старой церкви. Во главе этих более радикальных новаторов стоял теперь Карлштадт. Он требовал отмены католической обедни, уничтожения икон и распятий и горячо ратовал против монашества и безбрачия духовенства. В том же духе проповедовал при большом стечении народа и один августинский монах, некто Цвиллинг. Под влиянием этой проповеди монахи действительно стали покидать монастыри; месса была отменена, причастие раздавалось под обоими видами. Толпа, нафанатизированная иконоборческими проповедями, врывалась в церкви, останавливала католическое богослужение, надругалась над святынями.

Лютер в своем уединении все-таки узнавал через Спалатина о том, что происходило в Виттенберге. Сначала он был доволен тем, что его отсутствие не охладило ревности его учеников. Как раз в это время Меланхтон стал писать сочинение под заглавием “*Loci communes*”<sup>[3]</sup>, которое являлось первой попыткой систематического изложения принципов протестантизма. Лютер и сам писал в Вартбурге против мессы и обетов, доказывая, что монахи, не чувствующие призвания, могут выходить из монастырей, а духовные вступать в брак. Когда один из его последователей, священник из Фельдкирха, действительно отважился

открыто вступить в брак, он горячо одобрил его шаг. Но в то же время он высказывался против излишней поспешности, против всякого принуждения в деле нововведений. Он вообще считал все обряды, всякий чин богослужения делом второстепенным, так как, по его учению, существо религии заключается не во внешних формах, а в вере, во внутреннем настроении и поэтому не считал нужным торопиться с введением новых форм, предоставляя народу постепенно привыкать к ним. Поэтому, узнав о чрезмерном усердии новаторов, он не выдержал и в декабре внезапно приехал в Виттенберг. Здесь он тайно провел в доме своего друга Амсдорфа три дня и, снабдив своих сотрудников советами и наставлениями, уехал обратно.

Вернувшись в Вартбург, Лютер написал “Увещание христианам, чтоб они воздерживались от возмущения и мятежа”. “Искоренение злоупотреблений есть дело законных властей, – писал он, – и все, что исходит от последних, не есть возмущение. Масса же не имеет права прибегать к насильственным действиям, хотя бы в пользу правого дела”. На основании собственного опыта он верит в силу слова: ведь словом он принес папе, священникам и монахам больше вреда, чем все императоры и князья. К тому же он предвидит близкое наступление Страшного суда, когда Христос окончательно поразит антихриста.

Однако беспорядки в Виттенберге не прекращались. К чрезмерной ревности Карлштадта присоединилась еще проповедь так называемых “цвиккауских пророков”. Это были два суконщика из саксонского городка Цвиккау, к которым примкнул бывший виттенбергский студент Маркус Штюбнер. Место, откуда они явились, служило издавна плодородной почвой для развития разных сект; таборитские и средневековые сектантские идеи сказывались и в проповеди этих лиц. Они не довольствовались уже одним Св. Писанием; гораздо выше его они ставили откровение внутреннее, совершающееся в душе осененных Св. Духом лиц, к которым причисляли и себя. С Лютером они расходились в том, что требовали не только веры, но и добрых дел, без которых вера мертва, и учили, что человеческая воля свободна. Так как для детей вера невозможна, то они проповедовали, что крещение должно совершаться только над взрослыми, и сами перекрещивались, отчего и получили название анабаптистов, или перекрещенцев. В Цвиккау они сошлись со знаменитым демагогом Томасом Мюнцером, и под его влиянием их учение получило революционный и коммунистический оттенок. Изгнанные из своего города, эти цвиккауские пророки явились в Виттенберг, где проповедь их произвела сильное впечатление среди антикатолического движения,

руководимого Карлштадтом, который сам до известной степени подпал под их влияние. Этот беспокойный, увлекающийся человек, столь гордившийся своею ученостью, стал отрицать теперь науку как излишнее и мертвое дело и приглашал студентов заняться лучше каким-нибудь ремеслом или земледелием, ибо сказано: “В поте лица добывай хлеб свой”. Принимая буквально слова Евангелия, что оно принадлежит бедным, он ходил к бедным людям в дома и спрашивал у них объяснения темных мест Писания. И действительно, под влиянием этой проповеди, ректор школы распустил своих учеников по домам; студенты толпами бросали университет, разнося повсюду слух, что не надо больше учиться. Власти и образованные люди растерялись. Сам Меланхтон был потрясен вдохновенным тоном “пророков” и не решался высказаться против них. В городе царил невообразимая смута.

Весть о новых беспорядках сильно огорчила Лютера. “Все мои враги со всеми дьяволами, – писал он, – не причинили мне столько горя и забот, сколько причиняют теперь наши”. Он писал, увещевал, но ничто не помогало. Наконец сам магистрат обратился к нему с просьбой вмешаться в дело. После этого Лютер не мог уже дольше оставаться в Вартбурге. Напрасно курфюрст старался удержать его от возвращения, указывая на опасность проезда через владения враждебно настроенного герцога Георга и на то, что он сам не может теперь открыто защищать его. Не дожидаясь разрешения, Лютер прямо поехал в Виттенберг и уже с дороги ответил на письмо курфюрста. Ответ этот весьма интересен. Он дышит удивительным бесстрашием и гордой уверенностью в себе и своем призвании:

“Я хорошо знаю о себе, – говорит он в ответ на предостережение курфюрста, – что если бы в Лейпциге дела были в таком же положении, как в Виттенберге, то и тогда я поехал бы туда, хотя бы там девять дней шел дождь из герцогов Георгов и каждый из них был бы в девять раз свирепее его. Пишу это Вашей Курфюршестской Милости с тем, чтобы В. К. М. знали, что я еду в Виттенберг под защитой гораздо более высокой, чем защита курфюрста. Потому я и в мыслях не имею просить защиты у В. К. М. В этих делах не должен и не может помогать меч; их должен решать один Бог, помимо всяких человеческих забот и участия. Поэтому, кто больше верует, тот и будет в них лучшим защитником. А так как я замечаю, что В. К. М. еще очень слабы в вере, то я никоим образом не могу считать В. К. М. человеком, который мог бы защищать или спасти меня”.

Лютер вернулся в Виттенберг в четверг (в марте 1522 года) и в ближайшее воскресенье появился на кафедре. Восемь дней подряд проповедовал он, осуждая беспорядки, и авторитет его был так велик, что

ему удалось успокоить город. Цвиллинг и Карлштадт снова на время сошлись с реформатором. Что же касается цвиккауских пророков, то они должны были оставить город и, убедившись в том, что им нечего более рассчитывать на Лютера и властей, понести свою проповедь к давно уже волновавшимся крестьянам.

Скоро, впрочем, и сам Лютер, правда, постепенно и взвешивая каждый шаг, стал вводить перемены в чине богослужения. Вся пышность католической службы была отменена, в центре богослужения поставлена проповедь. Чтобы дать общине возможность самой участвовать в богослужении, Лютер ввел духовное пение. С этой целью он отчасти воспользовался существовавшими в старой церкви латинскими гимнами, переводя их на народный язык, отчасти вводил новые, причем ему самому приходилось часто не только сочинять текст, но и музыку к нему. Его стихотворные переложения псалмов, в которых он с неподражаемым мастерством сумел передать всю поэтическую прелесть подлинника, останутся навсегда лучшими образцами духовной песни. Кто не знает чудного лютеровского гимна “Eine feste Burg ist unser Gott”<sup>[4]</sup>, дышащего геройской отвагой испытанной в бедствиях торжествующей веры. Эти песни сослужили делу реформации очень важную службу. Они быстро облетели Германию, незаметно овладевая сердцами и делая их доступными для восприятия самого учения. Один иезуит метко определил их значение. “Песни Лютера, – сказал он, – погубили больше душ, чем его книги и проповеди”.

Между тем учение Лютера продолжало распространяться в Германии почти беспрепятственно. Не только во владениях Фридриха Мудрого, но и нигде в Германии не было предпринято ничего решительного против сторонников реформатора. На настойчивые требования нового папы Адриана VI об исполнении Вормского эдикта имперское правление, заседавшее в Нюрнберге в 1522 – 1523 годах, прямо отвечало, что огромное большинство народа разделяет убеждения Лютера, что римская курия сильно возбудила против себя нацию и что на всякую попытку прибегнуть к силе последнего ответит возмущением. А в ответ на вторичное требование папского легата чины представили известные “сто жалоб”, в которых перечислялись все злоупотребления папства, с угрозой, если эти жалобы не будут услышаны, прибегнуть к самоуправству. Вместе с тем было постановлено, что отныне должно проповедовать только “истинное, чистое и неповрежденное святое евангелие”.

Таким образом, Вормский декрет был отменен, приговор над Лютером и его последователями взят назад, и проповеди нового учения был открыт

полный простор. Благодаря этому успехи последнего росли с каждым днем. Особенно много приверженцев Лютер находил среди населения вольных имперских городов. В 1523 – 1524 годах учение Лютера утвердилось в Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Галле, Нюрнберге, Ульме, Страсбурге, Бреславле, Бремене. Некоторые князья также выказывали открыто свое сочувствие новому учению, особенно молодой Филипп Гессенский. Под влиянием Лютера же гроссмейстер прусского ордена, маркграф Альбрехт, решил превратить свое владение в светское, и король польский объявил его наследным герцогом прусским. Таким образом, Пруссия стала первой страной, открыто присоединившейся к реформации, так как Фридрих Мудрый до самого конца сохранял пассивное отношение к ней. Учение Лютера проникало также в другие европейские государства. Во Франции, в Испании, в Нидерландах, Швеции, Дании, Польше и Венгрии – везде читались его произведения, везде новые идеи находили горячий отклик в сердцах людей, недовольных церковью. Казалось, через каких-нибудь пять-шесть лет расшатанная старая церковь рухнет окончательно, по крайней мере в Германии.

Правда, одновременно с этими успехами Лютер терял также многих из своих прежних союзников. Беспорядки и волнения, начавшиеся после исчезновения Лютера, не ограничивались одним Виттенбергом. По всей Германии стали шнырять толпы голодных оборванных монахов, бежавших из своих монастырей и вносивших разврат и полную деморализацию в общество, и без того уже деморализованное. Бесчинства в церквях, иконоборческие выходки черни были обычным явлением в городах. Лютер всячески старался противодействовать беспорядкам. Водворив спокойствие в Виттенберге, он отправился в другие саксонские города и везде призывал народ к умеренности и послушанию. Но его проповедь, устная и письменная, уже не имела прежнего успеха. Он не мог больше справиться с народным течением, становившимся все более и более бурным и принимавшим совершенно новый характер. Благодаря вызванному им брожению умов всплыла наружу вся та темная сила, которая всегда всплывает в моменты полного разложения общественного строя. Приверженцы старины получили, таким образом, новое оружие против Лютера. Но даже многие из тех, которые прежде стояли за реформу и вообще за уничтожение церковных злоупотреблений, теперь испугались тех последствий, к которым должен был привести упадок прежних авторитетов. Даже Штаупиц, прежде сам возбуждавший Лютера к борьбе, теперь отстал от него и выразил покорность Риму. Но еще важнее был разрыв между Лютером и Эразмом. Последний давно уже с

неудовольствием смотрел на деятельность реформатора; он видел, что смута и беспорядки, вызванные его проповедью, грозят совершенно погубить дорогие его сердцу науки. Рим также требовал, чтобы знаменитый гуманист наконец высказался открыто. И вот в 1524 году Эразм выступил против Лютера с сочинением “О свободной воле”, в котором нападал на самую сущность его учения. Результатом возникшего между ними спора было то, что большинство гуманистов, по примеру своего главы, оставило Лютера.

Несмотря, однако, на эту начинающуюся реакцию, успехи Лютера и после возвращения из Вартбурга были очень велики и оказались бы еще более значительными, если бы не помешали известные события, которые были тем опаснее, чем теснее была связь между ними и источниками реформации. Дело в том, что за церковную реформу уцепилась революция.

Мы видели уже, что сближение Гуттена с Лютером было вызвано не столько сочувствием первого догматической стороне учения реформатора, сколько солидарностью в борьбе с общим врагом – Римом. На первом плане для Гуттена, как и для Зиккингена, стояли интересы рыцарства, врагами которого являлись князья, в особенности духовные. Для борьбы с ними Гуттен и мечтал объединить под знаменем религиозной реформации все сословия – не только рыцарей и города, но и крестьян, и горячо пропагандировал подобный союз в своих сочинениях. Но Зиккинген, видимо, считал возможным обойтись без помощи других сословий. Когда после Вормского сейма надежды, возлагавшиеся патриотами на Карла V, не оправдались, Зиккинген решился действовать на свой страх и под предлогом, что хочет проложить путь Евангелию, напал на Трирского епископа. Он рассчитывал, что к нему примкнет все рыцарство и что постоянно враждовавшие между собой князья не сумеют оказать энергического отпора. Но его расчеты не оправдались. Фридрих Мудрый и Филипп Гессенский тотчас же поняли угрожающую им опасность, и прежде, чем Зиккинген успел получить подкрепления от своих друзей, разбили его и заставили запереться в замке Ландштуль, при осаде которого он был смертельно ранен и умер (1523 год). Через несколько месяцев умер и Гуттен, нашедший убежище в Швейцарии. Впрочем, это движение, в котором религиозный элемент был весьма слаб, не принесло делу Лютера большого вреда. Гораздо опаснее было восстание крестьян, разразившееся в 1525 году, все под тем же знаменем Евангелия.

Уже не раз крестьянское население в разных частях Европы пробовало подыматься против тяжелых феодальных условий. Французская жакерия была еще в памяти у всех. В девяностых годах XV столетия крестьяне

восстали в Нидерландах и сумели добиться лучшего положения. В начале XVI века вспыхивали уже отдельные восстания в Швабии. В Австрии и Венгрии также начинались волнения среди крестьян. В этих первых, разрозненных и быстро подавленных вспышках уже сказывались зловещие симптомы. Нетрудно понять, какие плоды должны были дать семена новых религиозных учений, попадавшие на подобную почву. Проповедь странствующих проповедников и сектантов, изгоняемых из городов, бесчисленные памфлеты и “летучие листки”, распространяемые коробейниками, открывали недовольным крестьянам новые горизонты, ставили их требования под защиту религии и вселяли в них фанатическую уверенность в своей правоте. Вместе с крестьянами стал волноваться городской пролетариат. Мюнцер ходил с товарищами по Южной Германии и возвещал о близком низложении всех властей, как светских, так и духовных, о наступлении царства евангельской свободы и братства. Отсюда эта пропаганда проникла к Шварцвальду и Боденскому озеру, в соседние места Швейцарии, и в 1525 году начались быстрые решительные восстания в разных местах, одно за другим. Вскоре они охватили Швабию, Эльзас, Франконию, Гарц, Тюрингию. Большинство восставших формулировало свои понятия о реформе в так называемых “12 статьях”, в которых выразился их протест против феодального строя. Они требовали уничтожения крепостного права, уменьшения десятины и других феодальных повинностей, свободного пользования охотой, рыбной ловлей и лесными участками, возвращения общественных пастбищ, захваченных дворянами, а в первую очередь – права выбирать своих пасторов и евангелической проповеди. Требования эти подкреплялись ссылками на Св. Писание, причем крестьяне выражали готовность отказаться от своих притязаний, если будет доказано, что последние не согласны со словом Божиим.



*Трое крестьян начала XVI века. С гравюры Альбрехта Дюрера*

Сначала восставшие ограничивались только демонстрациями, долженствовавшими подкрепить их требования, предлагали дворянам

третейское разбирательство, называя в числе судей Лютера и Меланхтона; но когда они убедились, что такой образ действий ни к чему не приведет, то решились прибегнуть к оружию. В тех местностях, где агитировали анабаптисты, восстание приняло особенно кровавый характер. Томас Мюнцер не допускал никаких мирных сделок с господами; он проповедовал, что их надо истреблять как язычников, и фанатизированная толпа с восторгом следовала его призыву. Дело шло уже не об облегчении прежних тягостей, но о полном ниспровержении существующего социального строя, замене его совершенно новым, идеальным обществом.

Как же отнесся Лютер к этому новому движению? До сих пор, несмотря на все его желание расположить правящие классы в пользу своего дела, несмотря на то, что реформа церкви стояла у него на первом плане, Лютер всегда выражал горячее сочувствие к нуждам простого народа и со свойственной ему страстностью обличал притеснителей его, угрожая им массовым взрывом народного негодования. В своем сочинении “О светской власти”, которое было написано им после рыцарского восстания 1523 года и в котором он проводил начала безусловного повиновения властям во всем, что не касается веры и совести, он в то же время не стеснялся обращаться к ним с самыми резкими обличениями по поводу их злоупотреблений.

Эти обличения, распространявшиеся в народе с необыкновенной быстротой, только усиливали всеобщее брожение и делали реформатора не менее популярным в массе, чем его борьба с Римом. Неудивительно, что, решившись поднять оружие в защиту своих столь долго попираемых человеческих прав, крестьяне питали полную уверенность в том, что Лютер станет всецело на их сторону и поддержит их справедливые требования всею силою своего авторитета. Тем сильнее было поэтому всеобщее разочарование, когда реформатор совершенно отрекся от народа и стал призывать князей к быстрому и беспощадному подавлению восстания.

Вначале, впрочем, Лютер отнесся к требованиям крестьян с полным сочувствием. В “Призыве к миру”, написанном им по поводу 12 статей, он обращается к князьям с прежними обличениями и увещевает их для собственного же блага внять претензиям крестьян. Правда, вслед за этими грозными обличениями и предостережениями Лютер обращается и к крестьянам с упреками в том, что они слишком плотски понимают Евангелие, прикрывая им чисто мирские требования, и требует от них покорности властям. “Христианин сражается не мечом и оружием, – писал он, – а крестом и страданием... Христианин должен сто раз предпочесть смерть, чем хотя бы малейшим образом принимать участие в восстании”. В

том же духе проповедовал он и устно, для чего сам отправлялся в некоторые местности, где волновались крестьяне. Но все эти увещевания производили мало впечатления на лихорадочно возбужденную массу. Князья за редкими исключениями также не выказывали склонности к уступкам, и восставшие, над которыми все больше влияния приобретали анабаптисты, скоро предались самым необузданным и кровавым выходкам против господ.

Для Лютера это решило дело. Испугавшись размеров восстания, грозившего разрушить весь общественный строй, боясь за участь реформы, которая могла быть непоправимо скомпрометирована солидарностью с социальной революцией, он окончательно перешел на сторону князей и издал брошюру “Против кровопийц и мятежников-крестьян”, в которой с неслыханной жестокостью призвал князей убивать крестьян как бешеных собак, колоть, рубить и душить их сколько возможно, обещая в награду за эти подвиги царство небесное. Правда, он говорил и о милосердии к побежденным и просящим пощады, но эти немногие фразы о милосердии совершенно терялись в бурном потоке гневных восклицаний и призывов к мщению.

Князья и не нуждались в подобных поощрениях. Нестройные, плохо вооруженные толпы крестьян не могли долго защищаться против соединенных сил курфюрста Саксонского, ландграфа Гессенского и других; при Франкенгаузене они потерпели решительное поражение, причем был взят в плен (а потом казнен) Томас Мюнцер. Скоро восстание было окончательно подавлено в потоках крови, а положение крестьян стало еще хуже прежнего.

Но этот роковой 1525 год, оставивший такой печальный след в истории немецкого крестьянства, нанес также громадный вред делу Лютера. Как он и опасался, приверженцы старых порядков не замедлили указать на тесную связь между церковными преобразованиями и общественным переворотом и выставить реформатора истинным виновником восстания. Нужды нет, что он со всем пылом своей страстной природы выступил против мятежных крестьян – это лишь дало повод обвинить его в том, что он вероломно и бессердечно предал соблазненный им же народ, чтобы расположить в свою пользу победителей-князей. Результатом было то, что во многих землях не только Южной, но и Северной Германии, государи которых до сих пор сохраняли выжидательное положение, теперь начали усердно подавлять новое учение, изгонять проповедников и даже предавать их казни. Среди самих сторонников реформации замечается теперь сильная реакция в смысле

недоверчивого и даже враждебного отношения к народному движению. Как мы увидим ниже, впечатления этих лет отразились и на всей дальнейшей деятельности реформатора.

Немало толков и осуждений, не только со стороны противников, но и друзей, вызвало само поведение Лютера во время восстания. И необходимо заметить, что при всей преувеличенности некоторых обвинений, повторяемых и в настоящее время католическими писателями, поведение Лютера в 1525 году навсегда останется мрачным пятном на его памяти.

Что Лютер не был виновником восстания, как инсинуировали в свое время его противники, – это не требует доказательств. Крестьянская война, как и рыцарская, была вызвана причинами чисто социального характера, хотя нельзя отрицать и того, что необычайно резкий тон памфлетов Лютера, направленных против духовенства, его пламенные призывы к освобождению церкви, обращенные ко всей нации, его беспощадная критика властей значительно усиливали революционное настроение массы. Как бы то ни было, сам реформатор, видимо, совершенно не сознавал той ответственности, которая падала на него в этом деле, и в ответ на обвинения противников с полным убеждением указывал на то, что всегда и самым категорическим образом отрицал за народом право вооруженной самопомощи. Призывая князей к подавлению восстания таким образом, он оставался только верным себе. Но зато сам тон статьи “Против кровопийц и мятежников крестьян” не может быть оправдан ничем. К этой дикой необузданной проповеди “меча и гнева” его ничто не обязывало, как не было никакой необходимости объявлять поход против крестьян крестовым походом, а господам, и без того ожесточенным против мятежников, обещать царство небесное за их истребление. Тут, очевидно, сказалось удивительное самообольщение реформатора, непоколебимо убежденного в том, что его слово – слово Христа, а все, которые вредят его делу, слуги антихриста. Таким образом, и восставшие крестьяне, компрометировавшие его дело, представлялись ему слугами дьявола, истребление которых могло быть только угодно Богу. Лишь с этой точки зрения и можно понять то печальное и кощунственное мужество, с которым реформатор, в ответ на раздававшиеся со всех сторон обвинения, взял на себя всю ответственность за пролитую кровь: “Я, Мартин Лютер, убил всех погибших в восстании крестьян, потому что приказывал убивать их. Кровь их да падет на мою главу. Но я сделал это потому, что Господь приказал мне говорить так”.

Еще более непростительным, на наш взгляд, является поведение Лютера после восстания. Теперь, когда страсти улеглись и голос благоразумия и справедливости мог быть скорее услышан, реформатору

представлялся удобный случай снова напомнить торжествующему победителю о необходимости улучшить положение побежденных. Но Лютер, раньше так настойчиво внушавший правящим классам, что только уменьшением тягостей, лежащих на бедном народе, они могут уберечь себя от будущих восстаний, теперь не нашел ни одного слова в защиту интересов крестьян. Мало того, с этого времени мы замечаем с его стороны совершенно новое отношение к народу. Как и все страстные натуры, он всегда переходит от одной крайности к другой. Подобно тому, как из пламенного поклонника папы он сделался самым непримиримым врагом его, так и теперь, потеряв веру в народ, в его способность отрешиться от чисто мирских интересов и ценить выше всего духовную евангельскую свободу, он стал относиться к нему с величайшим презрением и советовал правителям держать его в самом строгом повиновении и не делал никаких уступок.

Неудивительно, что и доверие народа к реформатору с тех пор было радикально подорвано. Недавний кумир и вождь народа сделался теперь для него предметом ужаса и ненависти. Еще долго после восстания Лютер не решался показываться в некоторых местностях из опасения народной мести. Вместе с тем народ охладел к самой реформе, и дальнейшими успехами своими она обязана уже не религиозному одушевлению масс, а воздействию властей, усердие которых к делу реформы в значительной степени обуславливалось соображениями чисто политического характера.

## Глава VI. Церковная реформа

С 1525 года реформационное движение вступает в новый фазис. За периодом национальной оппозиции Риму и широких реформаторских задач начинается период церковной организации, а последняя, в свою очередь, из чисто народного дела становится делом князей.

И то, и другое является неизбежным следствием того положения, в которое социальная революция поставила реформатора. Мы проследили его прежнее развитие. Видели, как за первым, почти бессознательным шагом на новом пути пред ним стал быстро раздвигаться горизонт идей, весьма скоро удаливших его от прежней веры и увлекших в упорную борьбу с Римом. Мы видели также, как это расширение круга идей сопровождалось соответственно расширением круга деятельности, – как одно за другим примыкали к нему все слои общества: сначала университетская молодежь и более мобильное городское население, потом гуманисты, рыцари, князья (не только светские, но отчасти духовные) и крестьяне. В Вормсе Лютер достигает апогея своей популярности и духовного могущества. В это время все классы общества, как ни разнородны их сословные интересы, видят в нем своего вождя и пророка, выразителя самого заветного стремления нации. Осуждение Лютера только увеличивает его популярность – его считают мучеником, его образ в эту пору окружен нимбом. Некоторое время ему еще удастся удержаться на этой высоте. Одного его слова по возвращении из Вартбурга достаточно, чтобы успокоить разыгравшиеся страсти и задержать готовую разразиться бурю.

Но это затишье непродолжительно. Сословные интересы, на время заслоненные общей ненавистью к Риму, снова выступают на первый план – начинается восстание рыцарей, а вслед за ними поднимаются и крестьяне. Восстания эти оканчиваются неудачей. И рыцари, и крестьяне побеждены князьями, которые одни и выигрывают от социальной революции, отняв у побежденных последние остатки их прежних вольностей.

Но и для религиозной реформации наступил теперь критический момент. Почти все прежние опоры ее рухнули. А между тем религиозное безначалие, вызванное падением старых авторитетов, требовало безотлагательного введения нового церковного устройства. Оставался один только якорь спасения – князья, восторжествовавшие в общем разгроме и получившие вдобавок, со времени Шпейерского сейма 1526 года, право

впредь до решения спора на Вселенском соборе действовать в религиозном вопросе так, как подскажет им совесть. Как нам уже известно, Лютер с самого начала ожидал содействия реформе со стороны светских властей. Теперь он окончательно отдает в их руки организацию новых евангелических общин, признав князей светскими епископами территории и подчинив, таким образом, церковь государству.

Таким образом, со времени крестьянской войны реформация постепенно принимает чисто правительственный характер. До взрыва социальной революции в самой Германии ни один князь еще не решился открыто примкнуть к делу реформы. Демократический дух, которым была проникнута проповедь Лютера, его смелые отзывы о немецких князьях, про которых он, между прочим, говорил, что “умный и благочестивый правитель среди них – *gaga avis* (редкая птица)” – все это вместе взятое не могло не действовать охлаждающим образом даже на тех, которые вполне прониклись религиозными принципами реформации. Но с тех пор, как Лютер открыто перешел на сторону господствующего класса в крестьянском вопросе, последние колебания должны были исчезнуть. Князья поняли теперь, какую громадную силу может дать им учение, которое освобождало их от тягостной опеки церкви и давало случай увеличить свое богатство на счет секуляризованных церковных имуществ. Результатом было то, что уже в 1526 году новый курфюрст Саксонский Иоганн, наследовавший осторожному, до конца остававшемуся нейтральным Фридриху Мудрому, и Филипп Гессенский заключили между собою союз для защиты нового учения, а к этому союзу скоро присоединились и князья Бранденбург-Кульмбахский и некоторые имперские города. Для последних “новое Евангелие” представляло такие же выгоды, как и для князей, так как освобождение от всяких податей епископам и духовным корпорациям, конфискация церковных имуществ, уничтожение церковной юрисдикции и переход ее в руки магистрата давали и им возможность усилить свою территориальную власть.

К этому времени относится замечательное письмо Лютера к Генриху VIII английскому, с которым он с 1522 года вел жестокую литературную полемику по следующему поводу. Генрих VIII, претендовавший на славу теолога, написал сочинение в защиту семи таинств, наполненное грубыми нападками на Лютера. Тот со свойственным ему полемическим задором не замедлил ответить опровержением, и притом таким, которое по едкости и неистощимому богатству ругательных эпитетов далеко оставляло за собой сочинение его августейшего противника. Но теперь, под влиянием распространившихся слухов, будто король начинает сочувственно

относиться к реформе, Лютер счел нужным сделать попытку к примирению. В самом униженном тоне он просит у короля прощения за свое бестактное поведение, оправдывая его наущениями дурных людей, выражает готовность публично извиниться и в то же время умоляет короля отнестись без предубеждения к новому учению, в истинности которого он не замедлит убедиться. Почти одновременно и в таком же духе Лютер написал другому своему ожесточенному противнику – Георгу Саксонскому.

Эти попытки к примирению были безуспешны, и Лютер потом горько упрекал себя за свою наивность и напрасное унижение, но сам факт лучше всего доказывает, в какой степени реформатор в то время дорожил союзом с князьями.

Новые союзники действительно поставили дело реформы на твердую почву. Но деятельность реформатора с этих пор утрачивает тот смелый и универсальный характер, каким она отличалась в первом ее периоде. Лютер уже не стоит во главе прогрессивного умственного движения. В своих сочинениях он не касается более, как в “Послании к дворянству”, вопросов политической и социальной жизни народа. В этой области он отказывается от всяких реформаторских попыток, ожидая помощи лишь от времени. Великая национально-религиозная реформа сводится, как мы уже сказали, к чисто церковной перемене, но даже в этом вопросе Лютер становится гораздо консервативнее и на практике отступает от многих начал своего первоначального религиозного протеста.

Конечно, такая перемена не может быть объяснена одной зависимостью от князей. В сущности, несмотря на революционный тон его сочинений, несмотря на всю смелость затеянной им борьбы с Римом, в характере Лютера всегда было много консерватизма. Мы видели, как медленно, почти против воли, он отрывался от старой церкви, как медленно отрешался от старых форм даже после того, как сжег папскую буллу. Увлекаемый общественным мнением, он часто делал шаги, к которым собственное убеждение, быть может, никогда бы не привело его. Так, мысль о совершенном уничтожении монастырей зародилась не в нем. Отмена католической обедни, причащение под обоими видами – все это началось без него. Тогда как все ученики и друзья его переженились по первому вызову с его стороны, сам он по какому-то инстинктивному чувству оставался верен монашескому обету и даже долгое время не снимал монашеской рясы. Женился он лишь в 1525 году, и то как бы в виде вызова врагам, говорившим, что у него не хватает мужества сделать то, что он советует другим.

Не удивительно, что под влиянием горьких разочарований,

причиненных реформатору революцией и успехами сектантства, этот врожденный консерватизм значительно усилился, заставляя его по возможности удерживать из старых порядков все, что только прямо не противоречило его учению, да и самое учение значительно смягчил в применении к народу.

Чтобы понять особенности второго периода преобразовательной деятельности Лютера, нам придется остановиться на догматической стороне его учения, которая, как известно, всегда была у него на первом плане и в которой в одно и то же время вся сила и вся слабость религиозного реформатора.

Исходной точкой всей догматики Лютера, как мы уже не раз говорили, является учение его об оправдании, находящееся в связи с христианским догматом о первородном грехе. Человеческая природа, – учит христианство, – благодаря грехопадению Адама испортилась: человек рождается в грехе, с склонностью к греху; его разум и воля не в силах возвести его на высоту, утраченную первым человеком. Для спасения человечества и явился Иисус Христос, искупивший своею крестною смертью первородный грех и открывший таким образом человечеству возможность спасения. Но какими путями достигнуть спасения? В западной церкви существовали два решения вопроса: одно – выразившееся в учении Пелагия, систематически развитом и приведенном в научную систему схоластиками; другое – проповедуемое святым Августином. Первое, проникнутое рационализмом языческой философии древних, ставило нравственное совершенство человека в зависимость от усилий безгранично свободной воли, и дела милосердия и самоотвержения считало необходимым условием спасения, хотя бы они исполнялись не с любовью, а только наружно, для исполнения закона. Второе, к которому примкнул Лютер, ставило на первый план веру, понимаемую не в смысле уверенности в бытии Божиим, а в смысле убеждения, что крестная смерть Спасителя несомненно спасает нас от гибели. Но в учении Лютера это воззрение Августина получило еще более резкую формулировку. Сущность его такова: оправдание человека совершается одной верой в милосердие Божие, которое приобщает человека к заслуге Христовой, без участия его собственных дел. Соблюдение заповедей остается непременной обязанностью христианина, но само по себе, без веры, не имеет никакого значения в деле спасения. Добрые дела необходимы, но не как путь к вечной жизни, а как средство испытания веры, как признак очищенного сердца. Вера покрывает всякий грех, как бы сильно он ни оскорблял величие Божие, но грех со стороны верующего может быть только

минутным падением, ибо “нет возможности, чтобы вера могла пребывать без многих постоянных и великих дел благочестия; с другой стороны, если бы можно было, сохраняя веру неприкосновенной, совершить какое-либо преступное дело, оно не было бы грехом”.

На основании этих и подобных выражений о значении добрых дел как фактора спасения противники Лютера с самого начала не переставали обвинять его в прямом отрицании необходимости добрых дел как излишних для христианина, оправданного верой в Христа. По существу подобные обвинения, конечно, были неосновательны. И в проповедях, и в сочинениях Лютер не перестает повторять, что добрые дела составляют необходимую принадлежность истинно христианской жизни как неизбежное следствие веры. “Нельзя сказать, – поясняет он в одном месте свою мысль, – солнцу: ты должно светить грушевому дереву, ты должно родить только груши, а не другие плоды. Все это делается само собою, по самой природе вещей. Точно так же нельзя предписывать вере соединяться с добрыми делами, ибо истинная вера не может, по сущности своей, не сказываться в праведной жизни”.

Нетрудно, однако, понять, что на практике подобное учение должно было часто быть истолковываемо в самом пагубном для нравственности смысле. Этому содействовал и сам реформатор, который в увлечении полемики и чтобы сильнее оттенить свое отличие от учения церкви, превратившей истинное благочестие в автоматическое исполнение внешних актов, постоянно давал своему учению самую резкую формулировку и, говоря об оправдании одной верой” (*sola fide*), не только напирал с особенной силой на словечко *sola*, но каждый раз считал нужным прибавлять: “без участия добрых дел”. Неудивительно, что грубая невежественная масса часто толковала возвещенное Лютером “новое евангелие” и “христианскую свободу” в смысле отмены обязательности нравственных предписаний, так что противники реформатора не совсем были не правы, говоря, что своим быстрым распространением реформация была обязана угождением страстям человеческим. Таково было, между прочим, глубокое убеждение герцога Георга, искренно желавшего реформы церкви, но ненавидевшего Лютера за соблазнительный характер его проповеди.

Но сам реформатор долго не понимал опасной стороны своего учения. Для него самого, как мы знаем, идея об оправдывающем действии веры была не философской доктриной, не плодом холодных умозрений; это было глубокое всепроникающее убеждение, выстраданное им в течение многих лет душевной борьбы в тиши монастырской кельи. Для него это было яркое

солнце, осветившее мрак его измученной совести, якорь спасения, давший ему силу жить и уповать на жизнь в будущем. Как истинный идеалист, Лютер и других людей мерил на свой аршин. Ему казалось, что и другие, подобно ему, мучаются теми же сомнениями и бесплодными усилиями, и он счел своей обязанностью поделиться со всем светом сделанным им драгоценным открытием. Между тем большинство, как мы видели, совсем не интересовалось догматической стороной нового учения и отнеслось к нему сочувственно лишь в силу тех практических выводов, которые из него вытекали и которые для самого Лютера составляли лишь дело второстепенное. События последних лет открыли ему наконец глаза. Он потерял доверие к народу, к “Господину Всем” (Dominus Omnes), как он его называл, и, оставаясь при своих основных воззрениях, на практике мало-помалу отказался почти от всех логических выводов, которые вытекали из них. Эта перемена сказалась прежде всего при решении вопроса о том, на каких началах должно быть основано новое церковное устройство. Судя по “Посланию к дворянству” и некоторым позднейшим сочинениям, следовало ожидать, что новая церковь будет воздвигнута на демократическом принципе всеобщего священства. И действительно, исходя из этой идеи, Филипп Гессенский в октябре 1526 года пригласил в Гамбург земское духовенство, дворян и горожан, которые и выработали проект нового церковного устройства; по этому проекту все христиане, примкнувшие к новому учению, должны были добровольно записаться в члены известной евангелической общины, которая на своих собраниях могла сама выбирать своих духовных пастырей и епископов и затем высылать своих духовных, равно как и светских делегатов на ежегодные синоды для решения спорных дел. Но сам Лютер теперь смотрел на дело иначе. Отдать в руки народа избрание духовенства значило открыть широкий простор проповеди всевозможных сектантов, “фантазеров” (Schwarmeister), как он их называл. Точно так же, ввиду теперешней непопулярности реформатора, можно было ожидать, что многие из простого народа не захотят больше иметь дело с евангелическими проповедниками и предпочтут остаться при своих старых католических священниках и “ужасах католического идолопоклонства”. А по отношению к католикам Лютер уже давно отказался от принципа терпимости и свободы совести. Поэтому он решил, что назначение новых проповедников должно принадлежать светским властям. В 1526 году он так писал об этом курфюрсту саксонскому:

“Среди людей замечается столько неблагодарности к слову Божию, что если бы я мог это сделать по чистой совести, то оставил бы их жить без

пастырей, как свиней; но мы не можем так поступить. Так как папский порядок отменен, то все учреждения делаются вашим достоянием как верховного главы. Ваше дело всем этим управлять; никто другой не может и не должен об этом заботиться”.

Новым сильным ударом, нанесенным идеализму Лютера и окончательно повлиявшим на направление его деятельности, были те наблюдения, которые он вынес из церковной визитации 1527 года. Чтобы приступить к правильной организации церкви, курфюрст по совету Лютера назначил несколько комиссий для осмотра церквей и приходов. Инструкция для них была написана Меланхтоном, но просмотрена и одобрена Лютером. Интересно, что уже в этой инструкции высказывается принцип, что нужно как можно больше оставлять из старых церемоний, ибо всякие новшества причиняют только вред, когда имеешь дело с простым народом (*Omnis pro vitas nocet in vulgo*). В одной из комиссий участвовал и Лютер. Осмотр обнаружил весьма печальные вещи. В предисловии к малому катехизису, изданному Лютером по возвращении, он сам описывает глубокое падение веры и нравственности в местностях, им осмотренных:

“Написать катехизис, привести его в простую, понятную форму принудила меня горькая необходимость, испытанная в то время, когда я был визитатором. Господи Боже мой! Каких вещей не рассмотрел я! Простой народ решительно ничего не знает о христианском учении, особенно по деревням, и однако все называют себя христианами, все крещены и принимают св. Тайны. Ни один не знает ни Молитвы Господней, ни Символа веры, ни 10 заповедей, живут, как скоты бессмысленные, и, однако, не успело появиться Евангелие (т.е. учение Лютера), уже мастерски научились употреблять во зло христианскую свободу”.

Как видно, Лютер не ожидал встретить в народе такое невежество и нравственное одичание; все виденное и слышанное им сильно потрясло его и заставило задуматься о причинах. Он понял наконец, что проповедь его о христианской свободе и ненужности добрых дел для спасения – опасное орудие в руках черни, и с этих пор действительно в проповедях и сочинениях, назначенных для народа, старается восстановить утраченное равновесие между верой и нравственностью. Это особенно заметно в двух написанных им после визитации катехизисах – большом (для учителей и пасторов) и малом (для народа), причисленных к главным вероисповедным книгам лютеранской церкви. Здесь мы не находим решительно ничего, напоминающего любимые идеи реформатора. Оставшись верен своим прежним религиозным воззрениям и продолжая развивать их с прежней

страстностью и исключительностью в теоретических богословских трудах, он, по-видимому, совершенно отказывается от мысли сделать их достоянием народа. Христианская свобода, не допускавшая обязательности каких бы то ни было внешних форм и обрядов и, судя по прежним его сочинениям, долженствовавшая служить краеугольным камнем церковного устройства новой евангелической общины, по отношению к народу вовсе отвергнута. Проповедникам вменяется в непременную обязанность сохранять постоянно одни и те же формулы для преподавания учения веры. “Молодой и глупый народ следует учить всегда в одних и тех же выражениях; в противном случае неизбежны заблуждения... Кто не хочет учиться, того не допускать к св. Причастию; детей его оставлять некрещеными”... Выбор той или другой формулы Лютер оставляет на усмотрение самих проповедников, но, видно, не особенно полагается на их усердие или умение и предлагает их сам в малом катехизисе в виде вопросов и ответов. В прибавлении к катехизису Лютер размеряет всякий шаг христианской жизни; на каждый случай предписывает либо молитвы, либо благочестивые изречения. В сильных выражениях он обличает народ, который из всей евангельской проповеди извлекает только одно необузданное своеволие. О необходимости одной только веры для спасения здесь нет уже и речи; непременным условием его ставится исполнение закона. В то время, как прежде он ратовал против соблюдения постов и разных благочестивых подвигов, теперь он признает их весьма полезными для обуздания плоти. Точно так же он оставляет большинство обрядов старой церкви, если они прямо не противоречат Св. Писанию, требует исповеди перед причащением. Наконец самое важное право – свобода толковать слово Божие, свобода религиозной мысли, – предоставленное им прежде каждому человеку, – окончательно отнято у мирян новым церковным устройством, в котором только проповедник или приходский священник получал право толковать Св. Писание и вместе с этим неограниченную власть над совестью своих прихожан.

Необходимо заметить, что роль, которую Лютер предоставляет проповеднику, является одним из вопиющих противоречий его реформы. Понятна была власть католического духовенства, получавшего благодаря помазанию или рукоположению священный характер. Но, поставив назначение проповедника в зависимость от распоряжений гражданской власти и определив все различие между духовным и мирянином лишь в самой должности, реформатор не имел никакого основания требовать от прихожан безусловной веры в учение, передаваемое им проповедником, тем более, что сам вложил в руки паствы Евангелие на родном языке, а

вместе с этим – возможность обличать проповедника в ложном толковании слова Божия. В сущности, объем духовной власти евангелического пастора мало отличается от иерархического значения католического духовенства, так как первому предоставляется право не только обличения, но и духовного наказания, доходящего, как и в западной церкви, до отлучения от церкви. И надо заметить, что это противоречие было прекрасно понято народом. То влияние, которым ныне пользуется пастор в протестантской церкви, приобретено им лишь с течением времени. При жизни же Лютера положение проповедников, несмотря на все его заботы о них, было самое жалкое. Народ, приученный ненавидеть и презирать своих прежних духовных пастырей, перенес эти чувства и на новых, считая их совершенно ненужными для своего спасения. Городское и сельское население отказывалось давать содержание приходским священникам, а князья и дворяне и не думали уделять на эту статью что-нибудь из присвоенных ими монастырских и церковных имуществ. До конца своей жизни Лютер не переставал хлопотать, чтобы часть доходов с секуляризованных имуществ шла на содержание храмов и священников, школ и учителей, но лишь в редких случаях доходы эти получали желательное назначение. Несомненно, консервативный характер второго периода преобразовательной деятельности Лютера привел многих современников к заключению, что последний с течением времени возвратился незаметно к воззрениям католицизма. Мнение это было, однако, совершенно необоснованным. Несмотря на все уступки и ограничения в деталях реформы, вызванные, главным образом, убеждением в неподготовленности к ней простого народа, в основных пунктах своего учения Лютер до конца оставался верен себе. Его ненависть к папству с годами не только не уменьшалась, но увеличивалась. В нем действительно проснулся прежний монах и папист, но не в смысле возвращения к старым верованиям, а в смысле усиливающейся нетерпимости к чужим мнениям и сведения к нулю провозглашенного им раньше принципа личной свободы в делах веры. Правда, Лютер не доходил до той степени фанатизма, которую проявил впоследствии Кальвин сожжением Сервета, но и не считал больше нужным бороться с сектантами одним только словом, и везде, где только можно было, требовал вмешательства государственной власти против “богохульства”, каковым именем он окрещивал все, что выходило за рамки его учения.

Более последовательным является Лютер в своих заботах о народном образовании и возрождении университетов, пришедших в страшный упадок в последние смутные годы. Опасения Эразма оправдались. Период

расцвета гуманизма на немецкой земле кончился. Одни бросали занятия гуманистическими науками потому, что считали их слишком ничтожными по сравнению с богословской наукой; другие полагали, что, имея Св. Писание на родном языке, незачем уже изучать древние языки. Немало содействовали этому обстоятельству и прежние нападки Лютера на университеты, которые он называл “разбойничьими вертепами, вратами ада, синагогами дьявола” и тому подобным. Правда, эти нападки относились лишь к университетам со схоластическим направлением и имели целью свергнуть “слепого язычника”, Аристотеля, и вызвать преобразование их, а не уничтожение. Но и тут, как и в проповеди Лютера о значении добрых дел, истинный смысл его слов не был понят большинством. Родители отзывали назад своих сыновей, университеты пустели, даже в Виттенберге число студентов значительно убавилось, несмотря на блестящий состав профессоров. Не менее плачевно было состояние низших школ. Одни из них закрылись вместе с монастырями, при которых существовали; другие – потому, что прекратились пожертвования, на счет которых они содержались. Одной из главных причин, побуждавших народ отдавать детей в учение, было желание подготовить их к духовному званию. Но вследствие постоянных нападков на духовенство перспектива попасть в духовное звание потеряла всю свою заманчивость, и недостаток более или менее подготовленных людей был так велик, что после визитации во многих приходах пришлось оставлять старых священников, если только они знали “Отче наш” и Символ веры.

Лютер принял близко к сердцу упадок образования. Разочаровавшись в современном ему обществе, он естественно должен был возложить все свои надежды на подрастающее поколение, которому религиозная истина должна была внушаться с самого раннего возраста. Не уставая, призывал он власти к повсеместному учреждению новых школ и возрождению старых. Одним из выдающихся трудов по этому вопросу является “Воззвание к представителям городов”, в котором он проводит идею необходимости народной школы для всех классов общества. По мнению Лютера, повсеместное учреждение школ является одной из важнейших обязанностей христианской власти, и “такое дело гораздо достойнее и важнее, чем ведение войн, постройка крепостей и тому подобное”. Он же первый высказывает мысль, что обучение должно быть обязательное и для детей неимущих классов даровое. Он рекомендует также устройство народных библиотек, для которых предлагает выбирать не ученые труды, а такие книги, из которых читатели могли бы почерпнуть нужные им в жизни сведения. Что же касается программы университетского образования, то

древним языкам и теперь уделялось в ней значительное место, но лишь как вспомогательному средству при изучении Св. Писания. При этом Лютер рекомендовал также изучение юридических и других светских наук для подготовки государственных людей; особенно он уважал историю. В его программу входили и естественные науки, и даже музыка.

Заслуги Лютера как возродителя школы несомненны, хотя ему удалось осуществить на практике лишь самую малую долю своих обширных проектов обязательного обучения юношества всех полов и состояний. В этом отношении более заметны заслуги Меланхтона, прозванного за свои заботы об образовании *praeseptor Germania*. Но Меланхтон больше всего заботился о подготовке ученых, преимущественно теологов, тогда как Лютер стремился к организации национальной и общеобразовательной школы. В этом отношении уже один перевод Библии имел громадное значение: благодаря ему родной язык получил право гражданства в школе; исчезла пропасть, которая отделяла прежде школьную науку от жизни, вследствие господства в этой науке чужого мертвого языка. Между школой и народной мыслью была создана естественная связь, которая впоследствии уже не могла быть порвана.

Наряду с трудами по организации новой церкви, в которые реформатор вкладывал всю свою энергию, несмотря на то, что прежняя радостная вера в возможность обновления мира вновь найденной им истиной уже значительно поколебалась, наряду с заботами о народном образовании все время шла упорная литературная борьба с врагами, которые и извне, и изнутри старались подкопать воздвигаемое здание. Борьба эта не прекращалась ни на минуту, поддерживая Лютера в состоянии постоянной раздражительности и усиливая его недоверие к людям и нетерпимость. Ни один из старых противников его не сошел со сцены – Эрк, Фабер, Эмзер, Кохлей и другие не переставали вредить делу реформы, часто пользуясь для этого самыми недостойными средствами, вроде клеветы на частную жизнь реформатора и его близких. Впрочем, полемика с католиками теперь мало задевала Лютера, хотя он редко оставался у кого-нибудь в долгу. Гораздо сильнее волновало его враждебное отношение людей, которых он прежде считал за своих, из которых самым значительным противником был, конечно, Эразм, как известно, выступивший против него в 1524 году с сочинением в защиту свободной воли.

Чтобы понять силу удара, нанесенного знаменитым гуманистом Лютеру-богослову, необходимо указать еще на одну сторону в догматике Лютера, также заимствованную им от св. Августина. Если спасение зависит только от веры, то может ли человек собственными усилиями воспитать в

себе эту веру? Чтобы еще более смирить человека перед Богом, Августин, а вместе с ним и Лютер, учит, что и сама вера не зависит от человека, а дается ему только в силу Божией благодати как особый дар. Таким образом, у человека окончательно отнимается свобода воли, и в этом уже заключается зародыш фатализма. Вначале, однако, Лютер делал известную оговорку, что к восприятию благодати человек должен подготавливаться благочестивыми упражнениями, сердечным сокрушением и т.п., следовательно, признавал еще некоторое участие личной воли. Но впоследствии он в одном сочинении выразил мысль, что существует одна только воля – божественная и что поэтому все существующее, всякий поступок должны считаться происходящими от Бога. Это замечание, которое логически вело к утверждению, что Бог является и источником зла, в свое время шокировало даже Меланхтона, и на эту-то слабую сторону и направил свои удары Эразм.

Как истый гуманист Эразм, хотя и разделяет идею об оправдывающем действии веры, конечно, не допускает отсутствия у человека свободной воли. Последняя только ослаблена грехопадением, но не совершенно уничтожена; благодать Божия укрепляет ее, человек не может добрыми делами выказать себя достойным Божественной милости. Если же, как утверждает Лютер, природа человека совершенно испорчена и сам он в состоянии творить одно лишь зло, то зачем Господь делает его ответственным за его поступки, зачем Он призывает грешника к покаянию, к возвращению на путь истины?

И Лютер, хотя и возмущается религиозным индифферентизмом гуманиста, тут же заявляющего, что человеку вообще не следует задаваться подобными неразрешимыми вопросами, а стараться только вести нравственную жизнь, хотя и выражает свое презрение к слабости противника на богословской почве, чувствует себя не на шутку задетым этим возражением. Это сказывается в той слепой запальчивости, с которой он в своем ответном сочинении, озаглавленном “О порабощении воле” (*De servo arbitrio*), идет навстречу всем логическим выводам, какие только можно сделать из полного отрицания свободы воли, и таким образом невольно договаривается до самых крайних пределов детерминизма.

Зачем Господь призывает несвободного в выборе человека к покаянию? – спрашивает Эразм. Лютер дает на это следующее курьезное объяснение: для того, чтобы доказать человеку его собственное бессилие. Все заповеди, весь нравственный закон даны только с целью доказать нам, что мы не можем соблюсти их во всей строгости, что мы не можем спастись, если Господь не придет к нам на помощь. Ответ нелепый и

жестокий. Это все равно, что связать человеку ноги и наказывать его за то, что он не может ходить.

Но, преследуемый логикой Эразма, Лютер заходит еще далее. Так как несомненно, что лишь немногие имеют настоящую веру, большинство же ведет жизнь, несогласную с нравственностью, и, следовательно, лишено истинной веры, то выходит, что Бог, не сподобивший последних своей благодати, наказывает их за зло, которого сам был виновником. Как же согласовать подобное заключение с проповедью о благодати Творца, со словами Писания, что Господь не хочет смерти грешника? И чтобы вырваться из этих тисков, Лютер создает теорию о Боге откровений, выразившем свою волю в Писании, и о скрытом непостижимом Промысле, который заранее predetermined одних людей к спасению, а других к вечной гибели. Но человек не должен стараться проникнуть в тайны этой скрытой непостижимой Воли: высшая степень веры заключается именно в том, чтобы считать истиной даже логически несообразное и верить, что Бог не только справедлив, но и милосерден, хотя и осудил большинство людей на гибель. Разум потому только не мирится с этим фактом и считает его нелогичным, что хочет применять к Божественным делам свою собственную мерку. Но если бы к Божественной воле могла быть приложима мерка человеческих понятий о справедливости и причинности, то она не была бы Божественной.

Таким образом, Лютер в споре с Эразмом договаривается до тех же крайних выводов протестантского учения о благодати, которые были впоследствии систематически развиты в учении Кальвина. Но то, что у мрачного женевского реформатора было плодом его беспощадной логики, не допускаящей никаких смягчений и оговорок, и что тот упорно защищал как один из величайших догматов христианства, у Лютера вырвалось почти невольно, в пылу полемики, и хотя никогда не было взято им назад, но никогда и нигде больше не повторялось. Напротив, в своих позднейших проповедях Лютер постоянно говорит о благодати Творца, не желающего смерти грешника. Очевидно, несмотря на презрительные отзывы о противнике, несмотря на собственные заявления, что сочинение “О порабощенной воле” является одним из его лучших богословских трудов, Лютер в глубине души чувствовал, что в этой борьбе он пожал мало лавров. Этим отчасти и объясняется та жгучая непримиримая ненависть, которую реформатор с тех пор стал чувствовать к Эразму как человеку, доведшему его до последних безнравственных выводов из его учения. До самой смерти он не переставал внушать сотрудникам и даже своим детям, чтобы они оставались врагами “этой ядовитой змеи, этого неверующего

эпикурейца” – Эразма.

Не прекращалась и борьба с сектантскими ересями, носившими общее название “анабаптизм”, хотя среди сектантов были люди самой различной религиозной и социальной окраски – одни были мистиками, другие – коммунистами, третьи – тем и другим вместе; были и скептики, и люди, отрицавшие божественность Христа, и так далее. После смерти Мюнцера и неудачи крестьянского восстания анабаптисты перенесли свою деятельность в города, где находили многочисленных приверженцев среди пролетариата. В 1535 году им даже удалось на время овладеть Мюнстером и устроить в нем пародию на царство Божие. Лютер написал немало брошюр против этих Schwarmgeister, которые в то же время ревностно преследовались властями как протестантских, так и католических стран. Но еще больше, чем эти секты, причиняли ему забот и огорчений несогласия в собственном лагере, вызванные различным пониманием догмата об евхаристии. Первым, кто разошелся с Лютером по этому вопросу, был тот же неугомонный Карлштадт, которого с тех пор – впрочем, и не за одну эту “ересь” – реформатор преследовал своей непримиримой ненавистью. Но гораздо серьезнее была борьба со швейцарским реформатором, в 1524 году выставившим такое учение об евхаристии, которое встречало повсюду самый сочувственный отклик.

Гуманистически образованный и более последовательный в своей деятельности Цвингли, еще раньше Лютера начавший проповедовать в Цюрихе об оправдании верой и недействительности папских индульгенций, пришел к своим убеждениям совершенно иным путем, чем германский реформатор. То, что у последнего было результатом мучительной душевной борьбы, у Цвингли явилось плодом добросовестного, чуждого всяких предвзятых идей изучения Св. Писания. В основных пунктах оба реформатора вполне сходились, но в понимании таинств сказалось все различие их характеров. Для Цвингли, отличавшегося более рационалистическим направлением, считавшего искреннюю христианскую веру вполне совместимой с разумом, таинства были только символами. Слово “есть” в тексте “сие есть тело мое” он толковал в смысле “знаменует”, и, таким образом, таинство евхаристии получало у него значение символической трапезы любви в воспоминание искупительной жертвы Христа. Лютер, по его собственному признанию, одно время и сам был близок к подобному пониманию. Но с тех пор, как право толкования Св. Писания, предоставленное всякому человеку, породило самые крайние религиозные учения, он решил не отступать более от буквального смысла Писания. Уже в 1525 году, в брошюре против “небесных пророков”, он

объявил, что вера несовместима с разумом, “с этой блудницей дьявола, только позорящей и оскверняющей то, что говорит и делает Бог”, и что “необходимо закрывать глаза и уши и верить”. В данном вопросе всякие толкования казались ему теперь тем более неуместными, что налицо был совершенно ясный текст Писания. Таким образом, несмотря на то, что этим он отчасти приближался к католическому воззрению, Лютер стал толковать слово “есть” в смысле реального присутствия тела и крови Христовой в хлебе и вине евхаристии.

Спор между реформаторами длился долго. Из обоих лагерей вышло много сочинений на эту тему, причем Цвингли вел полемику в спокойном сдержанном тоне, а Лютер становился все более и более резким и заносчивым и постоянно ставил своих противников в один ряд с сектантами и ненавистным ему Карлштадтом. Перевес в полемике склонялся, однако, на сторону Цвингли. Его учение было принято не только на родине, в Швейцарии, но и во многих южногерманских городах. Но что было всего важнее, ему, очевидно, симпатизировал ландграф Филипп Гессенский. Последнему, для устранения соблазна, причиняемого этим расколом, и ввиду надвигающейся опасности от католиков, и пришла в голову мысль привести реформаторов к соглашению путем диспута.

Свидание реформаторов, состоявшееся в Марбурге в 1529 году, осталось, однако, без всяких результатов. Лютер, очень неохотно принявший приглашение на диспут, явился с предвзятым решением не уступать ни на йоту. “Одна сторона должна принадлежать дьяволу”, – говорил он заранее, и уж, конечно, не себя и свою партию мог он причислить к этой категории. В самом начале диспута он написал пред собою на столе куском мела слова: *Nos est corpus meum* (сие есть тело мое) и, какие бы доводы ни представлял Цвингли, упрямо указывал на эти слова, требуя их буквального толкования.

Что Марбургский диспут остался безуспешным в богословском отношении – в этом Лютера нельзя особенно обвинять: несомненно, что он действовал по искреннему убеждению. Но в том, что диспут остался без результатов и с точки зрения терпимости, вина падает исключительно на германского реформатора. Вся нетерпимость его, вся старая закваска паписта, не допускавшего возможности спасения вне известных рамок, сказались в том, как он расстался со своим противником. Напрасно Цвингли со слезами на глазах просил его считать швейцарцев братьями и не забывать, что вне этого спорного пункта у них все общее. Лютер никак не мог понять такой просьбы. Он не допускал, чтобы можно было любить, как братьев, людей, у которых другая вера, и считал такую терпимость

доказательством того, что сами противники не придают большого значения защищаемому ими делу. Единственное, что он считал возможным обещать им, – это та любовь, которую христианин обязан питать и к врагу. И когда Цвингли на прощание протянул Лютеру руку, тот оттолкнул ее с жестким замечанием: “У вас другой дух, чем у нас”.

Правда, по настоянию ландграфа обеими сторонами все-таки подписано было соглашение в 15 пунктах, определявших сходство обоих учений и то, в чем они расходятся по вопросу об евхаристии. На это соглашение Филипп Гессенский и Цвингли, носившиеся с планами широкого политического союза против императора, возлагали большие надежды, но Лютер расстроил все их планы. Он уговорил курфюрста не допускать в союз протестантских князей не только швейцарцев, но и принявшие учение Цвингли германские города, и до конца своей жизни не хотел иметь ничего общего с цвинглианцами. Когда Цвингли в 1531 году умер геройской смертью на поле сражения при Каппеле, Лютер, когда-то написавший умирающему и всеми покинутому Тецелю примирительное, дружелюбное письмо, не мог удержаться от проявлений злорадного чувства по поводу этого “суда Божия” и выразил сожаление, что католики не истребили окончательно заблуждений “сакраментариев”. Правда, в 1536 году, ввиду новой опасности со стороны императора и благодаря ревностному посредничеству страсбургского теолога Буцера, добившегося больших уступок со стороны цвинглианцев, Лютер согласился подписать так называемую Виттенбергскую конкордию, но уже в следующем году он открыто (в так называемых “шмалькальденских статьях”) отказался от всякой солидарности с ними. Даже чисто политического союза он не допускал с людьми, несогласными с ним в одном пункте учения, и эту страстную нетерпимость, причину губительного раскола в протестантском лагере, он оставил в печальное наследие всему последующему периоду до тридцатилетней войны.



Из времен битв при Каппеле: “Швейцарские кантонов Швиц, Ури, Унтервальден и Цюрих” (гравюра Виргилия Солиса)

Филипп Гессенский, как мы сказали, имел особенные причины хлопотать об устранении раскола и о соглашении между всеми приверженцами нового учения. В 1529 году император, заключив мир с папой и Францией, решил серьезно заняться делами в Германии и стал настаивать на исполнении Вормского эдикта. Вот тут-то и сказалась та реакция, которая успела произойти в настроении общества за последние годы. Теперь большинство имперских чинов соглашалось уже подчиниться требованию императора, так что меньшинству, состоявшему из 5 князей и 14 имперских городов, пришлось составить протест против их постановления (откуда и название “протестанты”). В основу протеста был положен принцип, что в делах веры не может быть решений по большинству или меньшинству, а только по внушениям собственной совести.

Решительный для реформации момент наступил в следующем году на Аугсбургском сейме, на котором присутствовал сам император. После того, как протестантские князья, приехавшие со своими теологами, представили свое исповедание веры, написанное Меланхтоном, Карл V назначил комиссию из князей, юристов и богословов обеих партий для выработки соглашения.

Лютер лично не участвовал в работах комиссии. Как опальный, он не мог явиться на Аугсбургский сейм, где решался вопрос о действительности декрета об его опале. Он остался поэтому в Кобурге, в замке курфюрста, на расстоянии двух дней пути от Аугсбурга, и оттуда с неослабным вниманием следил за всем происходящим на сейме и своими письмами старался поддержать мужество своей партии. Меланхтон поддавался унынию. Уже его аугсбургское исповедание было составлено в самом умеренном, так сказать дипломатическом духе, так как в нем особенно подчеркивалось все, в чем учение протестантов сходно с католическим и чем, наоборот, отличается от цвинглианского. В самой комиссии Меланхтон, испуганный угрозами католиков, чувствовавших свою силу под покровительством императора, опасаясь взять на себя ответственность за неизбежную междоусобную войну, проявил еще большую умеренность и уступчивость. Мало-помалу он дошел до того, что готов был даже признать папскую власть под условием свободы евангелической проповеди. Но Лютер и слышать не хотел об уступках. Для него было важно только то, что на этом сейме значительная часть Германии открыто исповедовала то самое учение, за которое он девять лет тому назад был осужден в Вормсе. О соглашении же с католиками он и не помышлял. “Чудное дело затеяли вы, – писал он протестантским теологам, – примирить папу с Лютером. Но папа

не хочет, а Лютер не просит”. Одно за другим летели из Кобурга его послания к князьям и теологам, в которых реформатор со всей энергией прежних лет убеждал своих не поддаваться малодушию и твердо уповать на то, что Бог не допустит гибели правого дела. Чтобы устранить возможность соблазна, Лютер сам торопил своих коллег с отъездом из Аугсбурга. “Вы отдали Кесарю Кесарево и Богу Божие, – писал он им. – Так именем Господа я вас отпускаю с сейма. Домой, друзья мои, домой!”

И действительно, отчасти благодаря влиянию Лютера, отчасти вследствие неуступчивости католиков, требовавших полного подчинения, критический для реформации момент прошел благополучно. А в ответ на угрозы Карла протестантские князья в начале 1531 года заключили в Шмалькальдене союз с целью взаимной обороны на случай нападения.

Лютер долго противился этому союзу; он допускал лишь пассивное сопротивление в делах веры: поднять оружие против императора, хотя бы для защиты своих религиозных убеждений, противоречило самым основным его убеждениям. Правда, в конце концов юристам удалось убедить его, что император Германии, выбираемый наследными князьями, не имел прав неограниченного императора древнего Рима, что власть свою он получает лишь в силу договора, за нарушение которого ему можно оказывать сопротивление. Но со стороны Лютера это была уступка вынужденная; всю ответственность на нее он слагал на юристов.

Впрочем, князьям не пришлось прибегнуть к оружию. Новая опасность со стороны Франции и турок заставила Карла быть сговорчивее, и летом 1532 года в Нюрнберге состоялось соглашение, по которому князья и города, принявшие уже аугсбургское исповедание, могли оставаться при нем впредь до решения религиозных споров собором или, по крайней мере, имперским сеймом, взамен чего они обещали оказать императору помощь против турок, уже подступавших к Вене. По заключении мира Карл снова уехал в Испанию, и опасность вооруженного столкновения враждебных партий на время была устранена.



*Герб Лютера на оборотной стороне его сочинения “О войне против турок”*

## Глава VII. Интимная жизнь Лютера

В предыдущих главах мы видели Лютера в таких условиях, при которых могли проявиться лишь известные стороны его натуры. Мы видели перед собой главным образом реформатора, глубоко убежденного в своем божественном призвании бойца, отстаивающего свои идеи со всей неустрашимой отвагой и неутомимой энергией мощной, богато одаренной, но страстной, недисциплинированной, нетерпимой натуры. Конечно, в этой борьбе, в способе ведения ее, как и в самом характере германской реформации, должны были ярко сказаться и все основные черты характера реформатора. Тем не менее, наш портрет окажется слишком односторонним, если мы не дополним его теми штрихами, которые может дать только интимная жизнь человека. Поэтому нам остается последовать на короткое время за реформатором в его тесный домашний кружок, посмотреть на него в те немногие часы, которые он мог посвящать своей семье и друзьям и в течение которых он набирался новых сил для великого труда своей жизни. Мы пойдем еще дальше и постараемся заглянуть в его душу в те моменты, когда он оставался наедине с самим собой, со своей чуткой неумолимой совестью, требовавшей у него отчета в каждом сделанном им шаге. Особенного труда это не представит, так как реформатор со свойственной ему экспансивностью и искренностью посвящает нас в обширной переписке и в «Застольных речах» во все детали своей интимной жизни и даже в чисто богословских трудах то и дело переходит от строго логической аргументации к доказательствам, почерпнутым из личного опыта своей богатой впечатлениями и испытаниями жизни.

С 1529 года в переписке Лютера, отражающей все перипетии разыгрывавшейся вокруг него великой общественной драмы, появляется новый, чисто личный мотив – это радости и печали его семейной жизни.

Лютер, как известно, женился в самый разгар крестьянского восстания и притом совершенно неожиданно даже для самых близких друзей. Несмотря на свое высокое представление о браке как о состоянии, вне которого человек не может спастись, Лютер еще в ноябре 1524 года писал Спалатину, что совершенно не имеет намерения жениться. Тем большую сенсацию должна была произвести весть о его женитьбе, случившейся как раз в такое время, когда общественное мнение и без того было сильно возбуждено против него.

Что было мотивом этого внезапного решения – до сих пор остается не вполне выясненным. Сам Лютер дает на это разные объяснения: в одном месте он говорит, что решился на этот шаг по желанию родителей и чтобы прекратить дурные толки, распространившиеся про него и Катарину. В другом же письме он объясняет свою внезапную женитьбу тем, что, ожидая ежедневно смерти от ярости мятежников, хотел предварительно показать пример и опровергнуть клевету врагов, уверявших, будто бы у него не хватает смелости сделать то, что он так настойчиво рекомендует другим.

Сам выбор невесты является в известном смысле чисто случайным. Женщина, которая сделалась подругой жизни реформатора, знаменитая благодаря этому обстоятельству Катарина фон Бора, также была прежде монахиней. Когда в 1523 году благодаря проповеди реформатора и его последователей монахи и монахини сплошь и рядом стали нарушать свои обеты, Катарина фон Бора вместе с восемью подругами бежала из монастыря, куда ее отдали еще в детском возрасте, и искала убежища в Виттенберге. Лютер принял горячее участие в судьбе монахинь и всячески старался их пристроить. Когда он стал серьезно помышлять о женитьбе, то прежде всего остановил свое внимание на одной из этих монахинь – Еве фон Шенфельдт, но, видимо, его влечение к ней было мимолетным. Была у него на примете еще одна невеста, также из монахинь бюргерского сословия. Во всяком случае, о Катарине он, очевидно, не думал и даже сам сватал ее за доктора Глаца. Но девушка в разговоре с другом Лютера, Амсдорфом, выразила свое недовольство по поводу этого сватовства и тут же чистосердечно заявила, что охотнее всего вышла бы за него самого или Лютера. Вероятно, эти слова, доведенные до сведения реформатора, произвели на него впечатление. Он заинтересовался Катариной, и когда под влиянием родителей, которых он навещал в это время в Мансфельде, мысль о женитьбе у него окончательно созрела, он не стал откладывать дела в долгий ящик: 13 июня реформатор был повенчан проповедником Бугенгагеном в присутствии только немногих свидетелей, а 14 дней спустя назначил брачный пир, на который пригласил всех друзей – близких и дальних, и родителей. Опустевший Виттенбергский монастырь, в котором он жил до сих пор вдвоем с престарелым приором, теперь был навсегда отдан курфюрстом во владение новой чете.

Весть о женитьбе Лютера наделала много шума. Толкам и пересудам не было конца. Не только противники издевались над браком бывшего монаха с бывшей монахиней, но и многие друзья неодобрительно покачивали головой, находя, что момент для такого рискованного шага выбран самый неподходящий; некоторым не нравился и сам выбор. Но

Лютер не обращал внимания на эти толки и с вызывающей иронией писал по этому поводу Спалатину: “По милости своей женитьбы я теперь внушаю такое презрение, что, наверное, ангелы ликуют, а дьяволы плачут”.

Лютеру действительно не пришлось раскаяться в своем выборе: брак его оказался в высшей степени счастливым. Катарине было 26 лет. Если судить по портрету, нарисованному Лукой Кранахом, то она не была красавицей, но обладала открытой привлекательной типично немецкой наружностью; при этом отличалась и всеми добродетелями, свойственными немецкой женщине, – скромностью, домовитостью, трудолюбием. Правда, она обладала также и значительной дозой властолюбия, так что Лютер в шутку называл ее Herr Ketha или Dominus Ketha<sup>[5]</sup>, но это не мешало ей, по свидетельству самого реформатора, быть любящей преданной женой, окружавшей мужа самым заботливым уходом и создавшей ему ту уютную атмосферу основанной на взаимном уважении и любви семейной жизни, которую он научился ценить еще в молодости, в доме Урсулы Котта. В своем доме, в обществе жены и детей, которых она ему подарила, Лютер как будто совершенно преображался; страстный неутомимый боец, потрясавший Европу своими революционными, колебавшими вековые устои речами, становился в кругу своих безобидным добродушным буржуа, находившим интерес во всех мелочах домашнего хозяйства, с наслаждением работавшим на токарном станке или копавшим грядки для дынь и огурцов в монастырском огороде. С детьми он умел быть настоящим ребенком – он смеялся, шутил с ними, участвовал в их играх и искренне восхищался их наивностью и доверчивостью. Из печального опыта собственного детства, как вредно действует на впечатлительную детскую душу чрезмерная строгость, и хотя он далеко не был слабым отцом, но всегда придерживался правила, что “рядом с розгой должно лежать яблоко”. Даже в Кобурге, несмотря на тяжкие заботы, внушаемые ему положением дел в Аугсбурге, он находил время сочинять сказки для своего первенца Ганса и писать жене теплые, полные добродушного юмора письма. Он величает ее “Виттенбергским светильником”, а сами письма надписывает: “Моему любезному господину, Catharina Lutherin, докторше, проповеднице в Виттенберге”. В письмах к друзьям он не может нахвалиться своей подругой жизни, говорит, что она “ему дороже французской короны, богатств Венеции”, что она редкоеместилище всех добродетелей, хотя подчас и подтрунивает над ее экономичностью или болтливостью. Вообще даже самая недоброжелательная критика не может набросить тени на образцовую семейную жизнь реформатора.

В отношениях к друзьям – та же преданность и сердечность.

Обмениваясь с ними в письмах мыслями по поводу жгучих вопросов дня, он в то же время всегда выражает самый искренний интерес ко всему, что касается их личного благосостояния. Особенно горячо он был привязан к Меланхтону, заслуги которого всегда высоко ценил. Ему, “своему Филиппу”, он прощал даже многое такое, чего никогда не простил бы другим – его малодушие, его колебания и даже неправоверие в некоторых пунктах учения. И друзья прекрасно чувствовали все величие этого преданного любящего сердца. Как ни тяжело приходилось им подчас от его раздражительности и нетерпимости, как ни жаловались они в интимных беседах на его деспотизм, они все-таки не покидали Лютера до конца и до конца относились к нему с искренней любовью и почти благоговейной преданностью.

Не менее прост, обходителен и сердечен он был со всеми, кто только приходил с ним в личное соприкосновение. Даже враги должны были признать, что не было человека, более чуждого корыстолюбию, чем он. Лютер никогда не мог решиться брать гонорар от своих слушателей или за сочинения, хотя издатели и книгопродавцы наживали на них целые состояния. Даже за свою должность проповедника он не соглашался брать плату, а жил лишь на скромное профессорское жалованье, которое назначил ему курфюрст. Но при всей ограниченности его средств он никогда не отказывал тем, кто обращался к нему за денежной помощью, хотя бы для этого пришлось заложить единственные фамильные драгоценности – различные кубки, от времени до времени подносимые ему в дар почитателями. В доме у него ежедневно обедали бедные студенты, проповедники без мест, изгнанники. Для всех двери его дома гостеприимно раскрывались, хотя ему не раз приходилось выслушивать по этому поводу ворчание жены, не знавшей очень часто, особенно в первые годы, как свести концы с концами. С течением времени, впрочем, материальное положение реформатора значительно улучшилось. Прибавки к жалованью, небольшие наследства, подарки от князей и магистратов увеличивали благосостояние дома, благодаря, конечно, и хозяйственным талантам фрау Катарины.

Лютер любил общество. С каким гостеприимством, с каким безграничным радушием он открывал свой дом в Виттенберге – об этом свидетельствуют его “Застольные речи”. У него всегда можно было встретить кучу гостей – теологов из других городов, приехавших для совещаний, любознательных путешественников из разных стран Европы, молодых протестантских князей, жаждавших увидеть великого вождя, – и все уезжали, очарованные его простотой, его внимательностью, его

готовностью оказывать всякому всевозможные услуги. Но всего лучше реформатор чувствовал себя в обществе друзей и сотрудников, в известные дни собиравшихся у него по вечерам для работ по переводу Библии. Обыкновенно по окончании работы они оставались ужинать, и вот тут-то, за стаканом пива или вина, в Лютере, несмотря на его возраст и прежде времени состарившие его заботы, словно просыпался прежний веселый жизнерадостный эрфуртский студент. Из уст его лились тогда шутки, глубокомысленные или остроумные афоризмы, воспоминания о пережитом, перемежаемые подчас гневными и не совсем пристойными выходками по адресу литературных и иных врагов. Эти речи (с 1531 года), записывавшиеся обыкновенно благоговейно внимавшими слушателями иногда в довольно извращенном виде, и составили обширное собрание его “Tischreden”<sup>[6]</sup>. Отсюда, между прочим, заимствовано и популярное двустишие, обратившееся у немцев в поговорку: *Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Lebelang* (Кто не любит вина, женщин и песен, тот останется дураком на всю жизнь). Вообще, в Лютере, несмотря на его религиозность и фанатическую преданность одушевлявшей его идее, нет ничего мрачного, аскетического; земля для него не юдоль плача, пользование благами жизни – не грех. “Если Господь наш, – передают его слова, – создал таких больших вкусных щук и доброе рейнское вино, то я имею право спокойно есть их и пить”. “Ты можешь позволить себе всякую радость в мире, – говорит он в другом месте, – если она не греховна, этого не запрещает тебе твой Бог, даже желает этого. Любвеобильному Богу приятно, когда ты от глубины души радуешься или смеешься”. Лютер любил природу и с истинно поэтическим чутьем улавливал ее красоты. Но самым любимым его занятием в те часы, когда он разрешал себе отдых, была музыка. За столом и после стола он часто пел, играл на лютне; иногда устраивал у себя небольшие домашние концерты, в которых принимали участие жившие у него нахлебники – студенты, а потом и подрастающие дети. К музыке он прибегал и в тяжкие минуты жизни, чтобы прогнать дурные мысли, рассеять гложущую сердце тоску. После богословия он считал ее наиболее угодным Богу занятием, так как с ее помощью можно легче всего побороть наваждения дьявола.

Даже сама религиозность Лютера носит какой-то особенный по-детски наивный и доверчивый характер. Он часто молился и всегда носил с собой псалтирь; при этом он чрезвычайно просто поверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Когда в 1530 году Лютер ждал в Кобурге известий об Аугсбургском сейме, спутник его Вейт Дитрих писал о нем Меланхтону: “Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву

по крайней мере трех часов, и притом самых удобных для занятий. Однажды я случайно услышал его молитву. Боже мой! Какая великая душа, какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится, будто представляет себя разговаривающим с Богом, с такой надеждой и верой, словно он говорит с отцом и другом"... Властный и нетерпимый с людьми, он умел с покорностью принимать постигавшие его удары судьбы. Его тихая скорбь, его истинно христианское смирение у постели умирающей горячо любимой маленькой дочери производят невыразимо трогательное впечатление. Вообще, трудно представить себе человека, более исполненного противоречий, чем Лютер. Его характер весь соткан из контрастов, это вечная смена света и теней. Мечтатель и мистик, он в то же время был практическим деятелем, человеком дела, отлично умевшим принимать в расчет те обстоятельства, среди которых ему приходилось действовать.

"Его мысли, – говорит Гейне, – имели не только крылья, но и руки. Он был в одно и то же время холодным схоластическим диалектиком и исполненным вдохновения пророком. Просидев весь день над разработкой догматических отвлеченностей, он вечером брал в руки флейту, устремлял взор на звезды и расплывался в звуках и благоговейном созерцании. Тот самый человек, который умел ругаться, как рыбная торговка, бывал по временам деликатен, как нежная девушка. Он то неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, то становился кроток, как зефир, ласкающий фиалки"...

Словом, в характере Лютера соединяются такие качества, которые обыкновенно считаются непримиримыми контрастами, и таких же противоречий исполнена, как мы видели, вся его общественная деятельность реформатора. Но, прибавим, быть может, именно в этом обстоятельстве, в этой сложности и удивительном богатстве природы следует искать причину того обаяния, того впечатления наивно-демонической гениальности, которое Лютер производит даже на людей предубежденных.

Мы видели Лютера в часы досуга. Но такие часы выпадали редко. Основное содержание его жизни – труд, труд упорный, почти непрерывный, труд, превышающий обыкновенные человеческие силы. Уже одна литературная производительность его необычайна. Мы упомянули только о самых выдающихся его сочинениях, но они составляют лишь незначительную часть его произведений, собрание которых обнимает собою 22 объемистых тома (в издании Walch'a). А между тем Лютер вовсе не был писателем по призванию. До 1517 года на литературном поприще

он выступил только с предисловием к изданному им мистическому сочинению “Немецкая теология” (1516 год). Почти все его произведения рождались под влиянием минуты, писались наскоро, без всякой отделки, но именно поэтому жизнь так и бьет в них ключом. Сам слог Лютера – верное отражение его натуры. Невольно спрашиваешь себя, как могли из-под одного и того же пера выйти такие поэтические, идущие к сердцу строки и такие потоки ругательств, оскорблявшие по временам даже не особенно утонченный слух современников. Как бы то ни было, своими произведениями, написанными без всяких литературных претензий, Лютер, сам того не сознавая, сделался творцом нынешнего литературного немецкого языка, и некоторые писатели с него и начинают историю новейшей немецкой литературы.

За работой Лютер часто забывал о еде и сне. Рассказывают, что когда он был занят толкованием псалмов, то, боясь, чтобы ему не помешали, захватил с собой хлеба и воды и, никого не предупредив, заперся в кабинете, где провел за письменным столом целых три дня и три ночи. Домашние тщетно искали его повсюду, наконец догадались взломать дверь, и только тогда Лютер очнулся. При всем том он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать два раза в день, вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии обращались к нему за советом не только по религиозным вопросам, но и по совершенно частным делам. Всякий написавший что-нибудь по богословию посылал свое произведение Лютеру с просьбой прочитать, исправить и позаботиться об издателе, а если возможно, как шутливо жаловался Лютер, то даже о покупателях. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемий, когда весь университет разбежался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных, напутствуя умирающих.

Что такая напряженная деятельность в конце концов должна была сокрушить даже самое крепкое здоровье – это понятно само собой. Уже со времени Вартбурга у Лютера появились головокружения, обмороки, сильный звон в ушах, мешавший ему иногда по целым дням работать. С течением времени, несмотря на то, что прежний худой, как скелет, монах превратился в дородного отца семейства, эти болезненные припадки стали повторяться все чаще и осложнились каменной болезнью, от которой он несколько раз был близок к смерти. Но гораздо мучительнее, чем физические страдания, были время от времени повторявшиеся у него душевные кризисы – те припадки сомнения и малодушия, которые знакомы всем новаторам и людям, порвавшим с традицией, но которые у Лютера

имели особенно мучительный, чисто демонический характер. После вартбургских искушений особенно тревожно прошел у Лютера период 1527 – 1530 годов, то есть именно тот период, когда ряд разочарований, начавшихся с виттенбергских беспорядков 1523 года, усиливающийся раскол в новой церкви, а особенно неутешительные наблюдения, вынесенные из церковной визитации, заставили его во многих отношениях отступить от первоначальной программы.



*Мартин Лютер. По оригиналу Лукаса Кранаха*

Оставаясь наедине с самим собой, реформатор все чаще и чаще задумывался о лежащей на нем ответственности, и в душу его закрадывалась тревога.

“Всякую ночь, когда я просыпаюсь, – пишет он в одном месте, – я чувствую присутствие дьявола. Он мучит меня вопросами: Кто велел тебе проповедовать евангелие так, как ни один человек не проповедовал его в течение стольких столетий? Что, если Богу это не угодно и ты понесешь наказание за осуждение стольких душ?”

...Больше недели, – пишет он Меланхтону после одного из таких кризисов, – я был брошен в ад на смерть, так что, разбитый во всем теле, дрожу всеми суставами. Так как я почти совсем утратил Христа, то волны и

приливы отчаяния и богохульства возмущают меня против Бога. Но, движимый молитвами святых, Бог начал жалеть меня и извлек мою душу из преисподней”.

В другой раз он пишет: “Я, право, питаю подозрение, что не просто бес, а сам князь бесовский ополчился на меня; очень уж велики его сила и знание Писания, направленные против меня: если бы я не ухватился за слова других, то мое собственное знание было бы недостаточно”.

Читатель может подумать, что, говоря об искушениях дьявола, Лютер только употребляет образное выражение, что это, так сказать, мифологическая одежда, в которую он облекает переживаемую им душевную борьбу. Ничуть не бывало. Слова эти следует понимать в самом буквальном смысле. Лютер, как мы знаем, не только верил в личное существование злого духа, но приписывал ему громадную роль в судьбах всего мира. Пропитанный суевериями своего времени, реформатор развил до последних выводов слова Евангелия, по которым злой дух назван князем мира сего. В известном смысле мирозерцание Лютера не лишено даже поэзии и своеобразной суровой красоты. Дьявол, по его представлениям, царствует в этом мире безраздельно, и человеческие страсти – его прислужники. Он вмешивается решительно во все; он изменяет ход природы, причиняет болезни и несчастья, но всего больше мучит души людей, вселяя в них сомнения, дурные мысли и уныние. Особенно заметно его могущество в делах государственных и вероисповедальных. Дьявол посылает даже особых княжеских и дворянских чертей, чтобы совратить с пути истины сильных мира сего. Он ослепил анабаптистов и сакраментариев, он действовал через Мюнцера, все паписты – его слуги. На Аугсбургский сейм все прелаты привезли с собой массу чертей, помогавших им строить козни против приверженцев Евангелия. Против него же, Лютера, дьявол особенно изощрял свое искусство, стараясь смутить его душу и уловить ее в свои сети.

Как бы то ни было, периоды этих “дьявольских” искушений были самыми мучительными в жизни реформатора. Обыкновенно столь жизнерадостный, служивший для других в дни испытаний неисчерпаемым источником утешений, он впадал тогда в отчаянное малодушие и слезно просил друзей молиться за него. Бывали моменты, по его собственному признанию, когда он был близок к самоубийству. Даже всякая проповедь на новую тему повергала его в борьбу с самим собой. Во время спора с Цвингли он “извивался, как червь”, чтобы не дать себя опутать столь убедительными доводами противника. Однако в конце концов все эти колебания и сомнения только укрепляли его веру. После каждого приступа

слабости он устремлялся в бой с удвоенной энергией и проявлял еще большую неуступчивость, чем прежде. Сама сила искушений укрепляла его в мысли, что он – избранное оружие Божие. Он неоднократно заявляет, что его учение внушено ему Богом, что его слово – слово Христа, пославшего его вновь возвестить миру чистое евангельское учение, затемненное и искаженное католической церковью. Отсюда тон величайшей самоуверенности, с которой он постоянно говорит о себе как о проповеднике слова Божия. Смиренно признаваясь в своих личных слабостях, он в то же время предъявляет такие же претензии на непогрешимость в делах веры, какие предъявляла столь беспощадно бичуемая им старая Церковь:

“Пусть мир порицает нас, пусть свирепствует против нас, как знает; но праведный суд ожидает нас на небе. Я, доктор Мартин Лютер, уверен, что проповеди моей воздадут свидетельство птицы, камни и песок морской. Там, на небе, у меня больше союзников, чем здесь, на земле, врагов”. В другом месте он выражается еще решительнее: “Я, Лютер, не подчиню своего учения ничьему суду, даже ангелов. Кто не принимает его, тот не может спастись”.

Подобные заявления, в связи с соответствующим образом действий, без сомнения, вполне оправдывают насмешливое прозвище “виттенбергского папы”, данное реформатору его противниками.

## Глава VIII. Последние годы Лютера

Нюрнбергский мир, хотя и обязывал членов Шмалькальденского союза к сохранению status quo в ожидании собора, не помешал дальнейшим успехам реформации. С отъездом императора протестантские князья перестали стесняться. При их содействии реформация была введена в конце тридцатых годов в Вюртемберге, Бранденбурге, Брауншвейге, герцогстве Саксонском и других частях Северной Германии. Особенным торжеством должен был наполнить сердце реформатора тот день, когда он мог всенародно проповедовать в Лейпциге, столице умершего врага своего Георга (1539 год). Еще значительнее были победы, одержанные его учением вне Германии, где оно сделалось господствующей религией в двух государствах – Швеции и Дании.

Особенность этого периода, продолжавшегося больше 13 лет, – это почти непрерывные толки и переговоры об обещанном императором соборе. Чтобы выработать условия, на которых возможно было бы соглашение между обеими церквями, назначаются съезды, заседают комиссии. Лютер, хворавший все чаще и чаще, не принимает в них личного участия; его обыкновенно замещают Меланхтон и Буцер. Католики, напуганные успехами протестантизма, настроены в это время очень миролюбиво, но Лютер менее, чем когда-либо, расположен к уступкам, и когда в 1537 году на Шмалькальденском сейме князья-протестанты поручили ему составить исповедание веры для предполагавшегося в скором времени собора, он наметил основные положения своего учения, в особенности против мессы, с такой резкостью, что всякая надежда на примирение должна была исчезнуть. Вообще, Лютер при данных обстоятельствах желал лишь одного – чтобы протестантам была обеспечена свобода вероисповедания. Он был убежден, что папа никогда не даст согласия на тот “свободный христианский собор” в самой Германии, которого добивались протестанты и на котором единственным авторитетом должно было служить Св. Писание; от собора же, созванного на старых началах, он не ждал ничего хорошего. Поэтому, когда подобный собор наконец действительно был созван в Триденте, Лютер, а с ним и протестантские князья отказались принять в нем участие и подчиниться его решениям. Как известно, опасения реформатора вполне оправдались: Триденский собор, отменивший, правда, наиболее вопиющие злоупотребления, в общем только содействовал усилению папства и

послужил началом новой и более энергичной католической реакции. Результатом же самого отказа была война между императором и шмалькальденцами.

Лютеру не пришлось быть свидетелем этой роковой войны, которой он всеми силами старался избежать. До самого конца он сохранял глубокую преданность верховной власти в лице императора и его отношения к протестантам всегда объяснял кознями опутавших его папистов. С ужасом предвидел он тот момент, когда его партии придется, хотя бы для самозащиты, поднять оружие против священной особы императора, и молил Бога избавить его поскорей от зрелища тех бедствий, которые должны разразиться над его дорогой Германией.

Последние годы реформатора прошли в невыразимых заботах и огорчениях, заставлявших его по временам желать смерти как избавления. Несмотря на новые победы, одерживаемые его учением, несмотря на поклонение, которым окружали его как “пророка Германии”<sup>[7]</sup>, Лютер с горечью сознавал, что сам он и его дело все больше и больше становятся орудием осуществления политических замыслов князей. Его охотно слушались в вопросах чисто богословских. Он мог с авторитетом настоящего “виттенбергского папы” судить о правоверности того или другого толкования догматов, мог остановить своим veto ту или другую попытку соглашения. Но как только затрагивались личные интересы князей, ему приходилось убеждаться в своей бессилии. Хищение церковных имуществ шло crescendo, особенно в землях, вновь принявших реформацию, и протесты реформатора оставались без внимания. Церковное устройство, сосредоточенное в консисториях, приобретало все более и более бюрократический характер; преобладающее значение получили в них юристы, а последние, к великому негодованию Лютера, снова начали вводить осужденное им каноническое право. Ко всему этому прибавилось еще пресловутое дело Филиппа Гессенского, заставившее его особенно живо почувствовать свою зависимость от князей.

Филипп Гессенский был несомненно самым выдающимся и симпатичным из тогдашних немецких князей. Молодой, энергичный, полный рыцарской отваги и редкой лояльности, он был искренне предан реформации и более всех проникся ее принципами. Он один, как мы видели, готов был построить новую церковь на демократическом принципе и в своих владениях оказывался более терпимым по отношению к другим вероисповеданиям, чем виттенбергские теологи. Один только недостаток знали за ним современники: молодой пылкий ландграф, не любивший своей жены, был далеко не образцовым семьянином. Он сам, впрочем,

казнил себя более всех за свои частые измены супружескому долгу, в сознании своей недостойности не решался по целым годам идти к причастию и не переставал думать о средстве, которое могло бы примирить требования его темперамента с нравственным законом. Уже давно он обратил внимание на те идеи Лютера о браке, которые тот высказал в сочинении “О вавилонском пленении церкви”. Обстоятельства заставили его снова вспомнить о них. Филипп влюбился в одну молодую девушку из благородной семьи, и так как та не соглашалась сделаться княжеской любовницей, а жена, в свою очередь, не соглашалась на развод, то он решил взять себе вторую жену. Шаг был вдвойне рискованный: двоеженство и по имперским законам считалось одним из самых тяжких преступлений. Но пылкий и отважный ландграф интересовался только мнением теологов. На первоначальный его чисто теоретический запрос Лютер и Меланхтон отвечали, что хотя моногамический брак более соответствует смыслу Евангелия, но прямого запрещения бигамии в последнем нет, примеры же из Ветхого завета свидетельствуют, что в некоторых случаях она допустима. Однако, когда Филипп прямо попросил у них согласия на брак, они стали колебаться. Но ландграф был настойчив: он убедительно доказывал, что в данном случае настоятельная необходимость второго брака не подлежит сомнению, так как это единственное средство излечить его от прежней порочной жизни, и в то же время намекал довольно прозрачно, что, в случае несогласия теологов ему придется обратиться за разрешением к императору, который, конечно, воспользуется этим обстоятельством, чтобы лишить его свободы действий в делах, касающихся защиты реформации. Последний довод, вероятно, оказался решающим. Лютер и Меланхтон, скрепя сердце, дали согласие, но с тем, чтобы Филипп, по крайней мере, держал в строгой тайне как сам брак, так и их участие в этом деле, которое могло бы быть истолковано как прямое разрешение многоженства, по примеру анабаптистов. Меланхтон и Буцер были даже свидетелями бракосочетания (1540 год). Дело, однако, получило огласку и навлекло на Лютера сильнейшие нарекания. Напрасно он отрицал свою причастность к делу; скандал был так велик, что по требованию Лютера Филипп должен был объявить свой второй брак незаконным сожителем.

Меланхтон долго не мог простить себе выказанной им слабости; одно время угрызения совести довели его до того, что он был близок к смерти. Лютер же, страдавший, вероятно, не меньше, не показывал виду, чтобы не дать пищи, как он выражается, злорадству дьявола и папистов.

Но все эти разочарования и неприятности были ничтожны в сравнении

с теми страданиями, которые причиняло ему внутреннее состояние основанной им церкви. Новые “визитации”, периодически устраиваемые курфюрстом, не приносили реформатору ничего отрадного. С глубоким отчаянием отмечает он усиливающееся безверие и падение нравственности. Жалобы его поистине потрясающи. Лютер не был из числа тех людей, которые предпочитают не замечать неприятной действительности. Напротив, он всегда бесстрашно смотрит в глаза истине и называет вещи своими именами, хотя бы его сердце обливалось при этом кровью. Он сам открыто признает положение вещей худшим по сравнению с прежним.

“В папстве, – пишет он, – мы жили некоторым образом в наружном иудействе, которое все же лучше язычества, ибо первое имеет от Бога и происхождение, и заповеди внешнего благоустройства. Теперь же, освободившись от папы, мы погрязли в язычестве: никто не делает добра, никто не молится”.

Даже в самом Виттенберге, несмотря на годы ревностного служения, учение его не содействовало улучшению нравов. Напротив, безнравственность среди горожан и студентов начала принимать ужасающие размеры.

“Мы живем здесь, как в Содоме и Гоморре”, – жаловался он друзьям. И что было всего ужаснее, реформатор сам должен был признать, что во всем этом главным образом виновато его учение об оправдании одной верой, неверно понятое. “Это учение – пишет он в одном месте, – должно было бы служить исправлению людей, но выходит наоборот, и свет благодаря ему становится все хуже. Конечно, все это штуки дьявола, но люди теперь скупее, безжалостнее, развратнее, словом, гораздо хуже, чем раньше при папстве”.

И такие жалобы в последние годы повторяются на каждом шагу.

Таково было настоящее. Но и будущее сулило мало хорошего. В собственном кружке, среди ближайших сотрудников реформатор не находил уже прежнего единомышленника. В то время, как Меланхтон в учении об евхаристии с течением времени стал склоняться на сторону швейцарского реформатора и в каждом новом издании своих “*Locī communes*” отводил добрым делам все большую и большую роль, другой сотрудник реформатора, Агрикола, хотел быть более правоверным в лютеровском смысле, чем сам Лютер, и упрекал последнего за те смягчения, которые тот допустил в основном пункте своего учения, хотя бы только в применении к народу. Впоследствии идеи Агриколы дали начало новой секте антиномов, или законоборцев, совершенно отвергавших 10 заповедей, которые, по их

мнению, относятся к области гражданского управления, но не могут быть предметом религиозной проповеди. Другие теологи также позволяли себе высказывать мнения, шедшие вразрез с доктриной реформатора. Правда, силой своего авторитета, могучим обаянием своей личности ему удавалось пока заглушать эти голоса и скрывать перед светом начинающийся разлад, но он не скрывал от себя, что после его смерти это с таким трудом поддерживаемое единство рухнет, а в минуты уныния даже открыто высказывал свои опасения.

Вообще, внутренняя жизнь реформатора в последние годы представляет собой настоящую трагедию. Что, в самом деле, может быть трагичнее положения человека, положившего всю свою жизнь на служение одной идее, начавшего с такой светлой верой в то, что эта идея обновит весь мир, и вынужденного почти на пороге смерти сказать себе, что “весь его труд был напрасен”, что папство и его “ужасы”, против которых он столько ратовал, в сущности, совершенно под стать его времени и народу, что последний не созрел еще для возвещенной им истины, которая вместо обновления производит в нем один соблазн.

“Если бы, – передают слова Лютера в “Застольных речах”, – если бы мне теперь пришлось снова объяснять народу книгу Бытия, я бы иначе распорядился; ибо кто хочет учить других и сам понимать эту книгу, должен обогатиться запасом житейской опытности и оглядеться хорошенько в мире. Огромное большинство неисправимых грешников я оставил бы под игом папы. Ведь учение Евангелия им впрок не идет, а только приводит к злоупотреблению свободой. Но истерзанным и отчаявшимся совестям я стал бы исключительно проповедовать утешения Евангелия. Проповедник должен прежде всего познакомиться с миром, убедиться, что он собственность дьявола, и не ожидать от него исправления. Он не должен быть таким простодушным агнцем, каким был я, который не на шутку верил в незлобие мира и полагал, что при первом звуке Евангелия все соберутся под кров его и примут его с восторгом. Теперь только я с душевным прискорбием узнал, как жестоко ошибался!”

Среди таких горьких мыслей, среди неурядиц и раздоров в церкви, с перспективой близкой междоусобной войны и еще больших неурядиц в будущем, реформатор находил одно грустное утешение в мысли, что близок день Страшного суда и что теперь именно наступили последние дни, когда пред окончательной победой добра злу предоставлено временное торжество. Правда, он отвергал все дерзновенные попытки человеческого ума, вроде тех, которые делал Меланхтон, вычислить на основании астрологических данных, когда именно погибнет мир, но что гибель его

близка – в этом он не допускал никаких сомнений.

И, однако, такова была сила этой натуры, что никакие разочарования не могли ее сломить. Исполненные горечи уверения Лютера, что, имея он в начале своей деятельности приобретенную такой дорогой ценой опытность, он оставил бы все по-старому, срывались с его уст лишь в особенно тяжелые минуты. Несмотря на ничтожество мира, на греховность людей, на неблагодарность народа, он все-таки хотел в течение немногих лет, которые еще должен просуществовать мир, спасти то, что можно было спасти. До самого конца он не переставал работать над исправлением капитальнейшего труда своей жизни – Библии, которая в 1545 году выходила уже четвертым изданием, исправлял и издавал свои проповеди для народа. И его ненависть к папе, в котором он видел антихриста и дьявола, оставалась прежняя, даже усиливалась, принимая характер настоящей *idée fixe*. Он сам сознается в этом, говоря: “Я не могу молиться, не проклиная папу, не могу сказать: “Да святится имя Твое”, не прибавляя: “И да будет проклято имя папистов”. Воистину так молюсь я каждый день устно, а сердцем своим непрестанно”. По сравнению же с тем могучим потоком гнева, презрения и ненависти, который Лютер изливает в своем последнем сочинении “Папство, учрежденное дьяволом в 1545 году” по поводу папского извращения идеи собора, все написанное им раньше против Рима может показаться умеренным, даже мягким.

Зато физические силы неукротимого бойца заметно истощались. Несмотря на свои 62 года, Лютер, правда, еще сохранил свою мужественную осанку с высоко поднятой головой, и тяжелая, полная испытаний жизнь, оставившая отпечаток невыразимой скорби на его дышащем суровой энергией лице, не сумела потушить яркого блеска его удивительных темных глаз. Но сам он уже давно называет себя стариком и горько жалуется, что не может работать по-прежнему. За последние 13 лет Лютер, в сущности, почти никогда не был совершенно здоров, а несколько раз был даже на волосок от смерти. Понятно, что при таком физическом состоянии, не говоря уже о нравственном, трудно было сохранять ровное настроение, тем более человеку с темпераментом Лютера. Особенно страдали от его раздражительности его сотрудники, которых он постоянно – и не без причины – подозревал в отпадении от его учения. Несмотря на свою старость и слабость, он подумывал даже о том, чтобы совершенно уехать из Виттенберга. Еще в июле 1545 года он написал жене с дороги, чтобы она продала все имущество, так как он не хочет больше возвращаться в Виттенберг: он готов лучше ходить с нищенской сумой, чем провести остаток жизни среди такого содома. На этот раз, однако, дело

обошлось без скандала. Курфюрст и университет отправили целую депутацию, которой удалось успокоить разгневанного реформатора. Но мысль об отъезде его не покидала.

Она осуществилась даже раньше, чем он ожидал, только на другой манер. Смерть, которую реформатор так часто призывал в последние годы, явилась, наконец, чтобы освободить его от зрелища погибающего мира. В конце января 1546 года Лютер, не обращая внимания на холода и состояние своего здоровья, принял приглашение графов Мансфельд, просивших его быть посредником в одном их семейном споре. Дело он уладил, но из поездки уже не вернулся домой. Реформатор умер 18 февраля в Эйслебене, том самом городе, где он увидел свет; тело же его было перевезено в Виттенберг и погребено с большой торжественностью в той самой дворцовой церкви, к воротам которой он когда-то прибывал свои знаменитые тезисы.

Лютер умер вовремя. Несколько месяцев спустя разразилась Шмалькальденская война, принявшая вначале очень печальный для протестантов оборот. Правда, торжество императора было непродолжительным. Скоро князья вновь объединились для дружного отпора, и Аугсбургский мир 1555 года наконец санкционировал все главные приобретения их за реформационный период. Но этот мир был непродолжителен, и длинный ряд религиозных войн, следовавших за первой, закончился только в 1648 году знаменитым Вестфальским миром.

Оправдалось и другое мрачное предчувствие реформатора. Скоро после его смерти разгорелась война и между теологами. Меланхтон не обладал ни авторитетом, ни энергией Лютера, чтобы поддержать в протестантском лагере прежнее единство, и люди с более независимым умом не стеснялись больше высказывать свои взгляды. По поводу всякого пункта учения поднимался спор за спором, и каждый из них вызывал целую литературу, беспримерную по своей полемической резкости. Князья, как и духовенство, были заражены ортодоксией и не отступали ни перед какими суровыми мерами, чтобы утвердить в своих владениях господство своей доктрины. Профессоров приглашали и увольняли, часто даже изгоняли и сажали в тюрьмы, в зависимости от преобладания той или другой богословской партии. Мало-помалу в университетах систематическое изучение Писания почти прекратилось; изучение догмы ради нее самой царило абсолютно. Таким образом, вместо прежней католической схоластики появилась схоластика протестантская, придерживавшаяся тех же методов.

Дальнейшие успехи реформации в Германии были уже ничтожны.

Религиозное одушевление первого периода ее давно остыло. К тому же принцип *cujus regio, ejus religio* (подданный следует религии своего государя), провозглашенный Аугсбургским миром, в связи с усилением католической реакции имел своим последствием постепенное подавление всех протестантских элементов в странах с католической династией.

Но движение, вызванное Лютером, не остановилось. Из Германии оно проникло в другие страны, утратив свою национальную окраску, и, благодаря мощному организаторскому таланту Кальвина, сумело победоносно выдержать борьбу со всем арсеналом усиленной Тридентским собором католической церкви.

Чего же достигла Германия с помощью Реформации? Осуществила ли последняя те надежды, которые возлагала на нее нация, когда с таким энтузиазмом приветствовала по пути к Вормсу провозвестника новых идей, Лютера? Видимо, нет. Реформация в Германии, как мы видели, не привела ни к полному освобождению от курии, ни к большему политическому единству, ни к лучшим государственным и общественным формам. Мало того, благодаря близорукости императора, не пожелавшего стать во главе народного движения, и неудаче социальной революции, реформация стала только новым рычагом для осуществления политических замыслов князей. Давно уже они домогались ослабления императорской власти и действительно достигли этого. Для полного торжества своих стремлений им недоставало только уничтожения независимости церковной иерархии от светской власти и приобретения церковных имуществ.

Все это с избытком дала князьям Реформация, – даже тем, которые остались верны старой церкви, – так как последняя, чтобы удержать их при себе, расширила их права над местным духовенством и даже отдала им часть церковных имуществ. А Вестфальский мир завершил торжество князей, отняв у императора последние остатки его прежней власти и признав за ними почти полную самостоятельность не только во внутренних, но и во внешних делах их государств. Таким образом, реформация в политическом отношении послужила только к раздроблению Германии и к утрате ею политического и религиозного единства.

Не менее плачевными кажутся на первый взгляд и культурные последствия Реформации. Начатая во имя индивидуалистического принципа свободы совести, она вроде бы только заменила один авторитет в делах веры другим, установила известные обязательные для всех формы и благодаря своему отрицательному отношению к разуму скоро уклонилась от свободного исследования, отвернулась от науки, затерявшись в лабиринте сухих теологических прений. Но при более внимательном

взгляде реформация все-таки окажется движением в высшей степени прогрессивным. Величайшая задача того времени заключалась в освобождении людей от нравственного и умственного гнета католической церкви, мешавшего улучшению жизни во всех ее проявлениях. От этого гнета нужно было освободиться прежде всего ради дальнейшего движения жизни, и этому великому делу освобождения совести и мысли служила Реформация и в значительной степени осуществила его. Правда, демократические и коммунистические теории, возникшие на почве свободного толкования Библии, заставили Лютера, а за ним и других реформаторов, отступить на практике от провозглашенного им принципа свободы исследования и объявить войну разуму, как противнику веры. Но как ни ратовали они против разума, принцип свободы мысли является все-таки несомненным достижением протестантизма. Несмотря на преследования, брань и унижения, люди все-таки свободнее дышали в умственной атмосфере, созданной Реформацией, чем под властью церкви. “Задачей Реформаторов, – говорит известный английский писатель Бэрд, – было открыть шлюзы; с этих пор поток, несмотря на их благонамеренные усилия остановить и ограничить его, с силой и шумом понесся дальше, где разрушая пограничные столбы, где оплодотворяя новую ниву, но везде принося с собой жизнь и освежение”.

## **Источники**

1. Ranke. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.
2. Janssen. Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters.
3. Egelhaaf. Deutsche Geschichte im XVI Jahrhundert.
4. Bezold. Geschichte der Deutschen Reformation.
5. Кареев. История Западной Европы в новое время, I и II т.
6. Бэрд (Beard). Реформация XVI в. в ее отношениях к новому мышлению и знанию. Перев. с англ. Звягинцева.
7. Jurgens. Luther von seiner Geburt bis zum Ablass-Streite 1483 – 1517, 3 Bde.
8. Kostlin. Luthers Leben.
9. Kolde. M. Luther, Eine Biographie, 2 Bde.
10. Berger. M. Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung. Erster Theil 1483 – 1525.
11. Dollinger. Luther. Eine Skizze.
12. Lenz. Martin Luther.
13. Новиков. Гус и Лютер. Критическое исследование. 2 т. 1859.
14. Kostlin. Luthers Theologie in geschichtlicher Entwicklung.
15. Dollinger. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Bekenntnisses.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

“Райнеке-лис”, “Уленшпигель”, “Корабль дураков” (нем.)

“С сумой в город!” (лат.)

“Общие места” (лат.)

“Наш Бог – нерушимая твердыня” (нем.)

Herr – господин, Господь (нем.); Dominus – Господь, Всевышний (лат)

“Застольные беседы” (нем.)

Так он был назван на медали, выбитой в честь него после Аугсбургского сейма. И в письмах его часто титуловали “propheta Domini ad Germanos” (Божий пророк из Германии)